

2

URBI

1993

URBI

ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

2/1992г.

URBI

журнал для чтения

Нижний Новгород

При перепечатке материалов
ссылка на "URBI" обязательна

Редакция "URBI"
благодарит за помощь в создании журнала
своих друзей и меценатов:

С. Б. ПОДКАРА ("НОВОАСКО"),
А. А. ФУФАЕВА ("МАРИЯ"),
Е. В. КОРОВИНУ ("АКСОН")

Редакционная группа
Павел Калачев (составитель)
Марина Кулакова
Кирилл Кобрин

Оформление
Любовь Якубова

Содержание

Литература

<i>Василий Травников. Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?</i>	5
<i>Дамид Абарисов. Страсти по Константину (I-XI)</i>	12
<i>Александр Казанский. Стихи</i>	15

Литература на полях

<i>Александр Казанский. Бродский (эссе)</i>	19
---	----

Литература опять

<i>Константин Лазарев. Из книги двенадцатистиший</i>	20
<i>Павел Калачев. Камень</i>	22
<i>Близкое</i>	23
<i>Ноны</i>	24
<i>Георгий Харизов. Стихи</i>	26
<i>Василий Троян. Из Гурийской тетради</i>	28
<i>Гурийское романсеро Бесику Придонишвили</i>	51

Возле литературы

<i>Константин Лазарев. Комару</i>	57
<i>Василий Травников. Комару</i>	57
<i>Георгий Харизов. Стихи</i>	58

ЛИТЕРАТУРА

Василий Травников

*"Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?"
Державин*

Коль колесо времен свершило полный круг,
Средь русских гениев, где всяк другому равен,
Теперь хочу избрать, испробовав твой звук,
Тебя в наставники, Державин.

И странно ли сие? Ты, живший на холме,
Над синим Волховом, от дел уединенно,
Как вдуматься, так впрямь во многом сроден мне,
Глядящу утром восхищенно

На ширь и даль небес. Высокий мой этаж,
Моя квартирка малая в Коньково,
Дверь тонкая, что не боится краж —
Что грабить у меня такого?

Как не похоже все на храмовидный дом —
Но лишь для тех, кто внешность лишь и знает!
Державин! Розны сколь, сколь сходно мы живем,
Теперь пусть Муза рассуждает.

Пока качается на глиняных ногах
Империи колосс, кого ты часто славил,
Хочу не торопясь порассказать в стихах
О том, как я живу без правил.

Встаю я поздно — день уже высок,
Рычат моторы, вонью воздух наполняя:
Но все ж таки меня ласкает ветерок,
Что вест, занавесь качая.

В окне я с высоты лесок зеленый зрю,
Домами стиснутый, как озеро берегами.
Заварка есть? — пью чай, а нет — так заварю,
Зане не окружен слугами.

Работа подождет... Сажуся у стола,
Рассеянно в тетрадь, линованную в клетку,
Гляжу — но чу! строка внезапная пришла,
Ловлю ее, как рыбку в сетку.

Уже другая, третья, пятая плывут —
Я сочинять горазд! Час, два, а то и третий
Сижусь, забыв про все, — и все в себя берут
Закинутые мною сети...

Но поздно, надо бы пуститься по делам —

URBI

В библиотеку ли, в пылащу и скучищу,
Или урок давать балбескам и балдам,
Иль в поиски питья и пищи.

И проходя дворами, осень вижу я,
Еще не смелую — сентябрь лишь на пороге,
И грусть внезапная пусть трогает меня
При виде листьев на дороге.

Потом в подземные спускаюсь я миры
И, грешен, на все стороны люблюсь
На жен. Желания встают во мне остры!
Готов преследовать любую!

Готов следить изгибы нежных рук и шей
И грудью любоваться — сколь высока!
Как перстни для перстов и серьги для ушей
Иль для лукавых взоров око —

Так весь я создан, знаю, для любви!
Я чувствую в себе заряд ее изрядный!
И часто, часто, Муза, прелести твои
Готов забыть для бабичи нарядной!

Уж в ранних сумерках под крышу ворочусь,
Устал и голоден — сперва сажусь обедать;
С хозяйкою своей то спорю и ворчусь,
То нежные веду беседы.

Как опишу приятный скромный стол?
Жена из ничего готовит мастерица.
Тем боле в сентябре! Все, что из бедных сел
Гребет себе несмытая столица,

Все вижу пред собой: суп из гороха здесь,
В салате красные блистают помидоры;
Здесь зелень свежая, которую любо есть
С картошкой отварной, здесь горы

Душистых мякнотких блинков из кабачков,
Златую ржавой корочкой покрытых!
Капуста, жареная в масле, — пир богов —
Яйцом сверкающим залита;

А то предстанет вдруг очам моим кальмар,
Как овощ, иссечен на тонкие полоски,
С лицом крутым и майонезом — дар
Богатых край приморских;

А там уже, гляди, толстенна колбаса
Срез круга и розоват из-под бумаги кажется;
Варенье на столе — уж тут как тут оса!
Жена кричит, руками машет:

"Оса, оса, оса, лети на небеса!" —
Я как-то сочинил такую поговорку...
Но нет, не отвлекусь: попалась на глаза
Оладьев масляная горка!

URBI

Душистый крепкий чай с смородинным листом,
Иль с мятою лесной, с шиповника цветами
Пью, забелив для вкуса молоком,
И сыто чмокаю устами.

Я добр и сонлив. На стульчике складном
Сажу себе, курю на маленьком балконе,
Сажу и вдаль смотрю, мечтаю ни о чем,
Меж тем как красно солнце тонет.

Закат распахивает сизый веер свой;
Сквозь облак перистых даль розова светится;
Вокруг горят огни... Машины шум — иль вой
Собачий снизу доносится.

Еще мне песня хрипло-пьяная слышна
И мотоцикла рык — на нем гарцует рокер
По школьному двору, но сходит тишина
И на него... И снова строки

Я в воздухе ночном певучие ловлю!
Я снова за тетрадь! Жена сидит над книгой,
Нисходит ночь на мир, и Музу я молю —
Она же вдруг мне кажется фигой!

Что ж, коль стихи нейдут — берусь за телефон
И верных друг своих в Коньково созываю.
Вот снова стол накрыт — стеклом граненым он
Украшен — шир я затеваю...

Гадаев входит в дверь, бутылку он принес!
И Рондарев за ним — и с ним пришла бутылка!
Да я еще припас — прозрачней водка слез;
Минута — и уж чокнулись пылко!

Стихи по кругу чем, ведем ученый спор,
Табак всю дымим — не здесь ли Курилы? —
На дальние огни наводим томный взор,
В молчании сидим, улылы.

Гладишь — синей окно, уже редет мгла,
Что делать нам теперь? — песнь птах дошла до слуха;
Тут полны свежих сил, встаем из-за стола
И, коль не дождь и утро сухо,

В лес ближний поспешаем, тонку сетку взяв,
Ракетки и волан — и в бадминтон сразимся;
А дождь когда идет, иль сильно перебрал,
Впывалку спать тогда валимся;

Иль славно тешимся классической борьбой,
С Гадаевым ломим друг другу крепко спины,
Иль прозы властелин, мой Рондарев, с тобой
Сидим перед утра картиной;

Перед раскрытым в светло-синю даль окном,
Как жизни нашей перед вечною загадкой,
И по последней курум над пустым столом,
Остановив мгновенье кратко.

* * *

Что с того, что лира стара?
 Густ донныне струн раскат!
 Жгуч в груди огонь пожара,
 Сладок в ней восторгга хлад.

Глыбы двух тысячелетий
 Трутся точно жернова,
 В стыках скачет лютый ветер,
 Рвут завесы зарева.

И в охриплом горле певчем
 Слово грубо и темно,
 Словно буйным русским вечем
 В жарких криках стеснено,

И расплавлено в горниле,
 А его уж надо пить,
 Чтоб восстать в забытой силе
 И края собой скрепить.

Чтоб раскачивало время
 Дней грядущих колыбель,
 Под снегами зреет семя,
 Пляшет мертвая метель.

Рвется голос, воздух труден,
 Очи застит дымный мрак.
 Но средь тяжких сердца буден
 Все вернее бьется в такт.

И в движеньи сфер надмирных,
 И в мелькании кратких лет
 Мощно крепнет отклик лирный
 Хору прежних лир в ответ.

И возносит старец руку
 Юную главу венчать,
 И спешит в наследство внуку
 Муку слова передать.

Так, как храм, на камень камень,
 Строит время дом веков,
 Чтоб сиял, не гаснув, пламень
 Нерасторгнутых стихов!

* * *

Разъят на части мир земной
 И сложен снова.
 С первоначальной безизной
 Столкнулось слово.

Так вот он список кораблей,
 Багрянец Эос,
 И ослепительный Амфей,
 Где славно пелось;

URBI

Где от листвы бежала тень
На профиль грека,
Когда вставал огромный день
В начале века.

* * *

Прекрасны мраморные лица.
Безумны чистые черты.
От них в листве зеленой скрыться
Спешу, пока не пойман ты!

Но властный холод притяженья
Идет от ясного чела:
Засмотришься — одно мгновение —
И вечность сзади подошла.
К немому мрамору губами
Ты сам в беспамятстве прильнешь,
И вдруг летит по камню дрожь,
И дева стройными шагами
На траву сходит ... Прочь беги!
Она добра и зла не знает!
Тень листьев на плечах играет,
И убыстряются шаги.
И, белоснежная, она
В густом саду идет вслепую,
Чтобы вернуть тебе спола
Ответный холод поцелуя.

От мраморных не скрыться рук.
Не совладать с волшебной силой.
Она идет на сердца стук,
И незнакомый ей, и милый.

И сад в священном столбняке.
Струя фонтана замирает.
И в лунке крохотной, в зрачке,
Роса холодная мерцает.

* * *

Весь день по слякоти и грязи
Я пробираюсь на носках,
Не замечая прочной связи
В привычных мыслях-пустяках.

А между тем со мною рядом
Идет крылатый гений мой,
И пред его открытым взглядом
Силет мудрый мир земной.

И только ночью в час усталый,
Мы наше знание соединим,
Сойдясь дыханием двойным
В одном стихотвореньи малом.

* * *

В огромном городе распахнуто окно —
Там виден воздух, слабо освещенный,

URBI

Стакана край и красное вино
И женский взгляд, к ночной земле склоненный.

Застольная беседа там течет
То прямо, то окольными путями,
То стройные ряды старинных нот
Всплывают над притихшими гостями.

Свет из окна не достает листам.
Пустует двор. Безмолвствует округа,
И только три склоненных головы
Видны в пределах светового круга.

Уже светает. Лампа все бледней.
Еще минута — кухня опустеет.
И дальний ряд мерцающих огней
Варуг под рукой незримой поредеет.

И голоса проснутся первых птиц.
И ветер приподымет лист в тетради.
Он светлый пепел сдует со страниц,
Коснувшись их рассеянно, не глядя.

* * *

В тепле, под зимним одеялом,
Когда за стеклами мороз,
Люблю волну твоих волос
На пряди разбирать устало.

Благоуханный стог разрыт,
Он весь — распаханная нега,
Гнездо для сладкого ночлега,
Где порыжелый клевер спит...
Июль медленный огонь.
Травы забвенья и шуршанья.
С печальной нежностью прощанья
Целую теплую ладонь.

И между нами ночь идет.
Не волос — отголосок вьется.
Что нам от счастья остается?
Что в нашей памяти поет?

* * *

Во времени купаюсь, выходя
На берег и качая голову,
Я люблю молчание живое,
Бегущее легко через край.

Я открывал глаза на глубине
И видел, как стволы качались света.
Коринна, Хлоя, Десяня, Амалетта
С улыбками скользили по стене.

Но водоросли двери заплели.
И нежным мном замело ступени.
Лишь легких рыб диковинные тени
Поверх страниц распаханнотых текли.

URBI

Любимый мир, как ты невозвратим!
Обточенный рукою и теченьем,
Как полон ты задумчивым свеченьем,
Как равнодушен к временам иным.

Не небо, но подвижный потолок —
Привольное, прохладное струенье.
И сверху ночь — уходят в тень строенья.
И все быстрее невидимый поток.

URBI

Дамид Абарисов

СТРАСТИ ПО КОНСТАНТИНУ

I

Как удивленное лицо
На сером небе зелень грез;
На успокоенном окне
Чешуйчатые бродят рыбы.
Я заключаю горизонт
И от себя иду спиною,
Куда не знаю — знает тот,
Когда глаза его в ладони.

II

Тихо. Как никогда не случалось.
В луче пыль сходит с ума.
Детское колетса сено.
И синяя лошадь
В ладонях хрустит, поводя зеркалами.

III

Тяжелые пальцы на лирне
Слушают эхо.
И плачет девушка с клена
Под ветвями ели.
И сыпется снежная пудра
Из рук Эйдотем.

IV

Когда
Отягощенная Протеем,
На изумрудном лоне трав
Спала его другая мать,
То
В млечном храме лебедь пела,
И многократный Филострат
На мановении крыла
Священно вывел:
Аполлоний.

V

Смотрю в свои глаза,
Которым было имя,
Забывтое теперь,
Далеких берегов.
Тугой и синий пламень
Плавит тягелъ,
Где сон меняют на любовь
И кровь светает в паутине.

VI

К эпитафим Китса

Оно осталось на воде,
И пену рвет Он с океана,
А Марсий в башне Кубла-Хана
Диктует Кольриджу во сне.

Оно осталось в полусне,
И плачут лицами туманы
На петербургской стороне,
Где черный ворон в темноте
Целует запах смерти пряный.

Оно осталось в полутьме,
И лебедь бьет его крылами,
И битва та приснится мне,
И многократными телами
Прибавлю кожи я воде.

VII

Ристатель

У луны стягающий лучи
под звук шагов прозябшей плоти
теряет время на слова
и в пустоте его встречает
и прорастая ей глаза
безмолвно дается.

Адрастая

Красивой головой качает
и ночью скорбного пространства
спешат легчайшие шаги.

VIII

"Как изощрилась мудрость
"попечением магов...
Влекомый тишиною
укорный голос тих.
И юный ареталог
на золото зрачков нанизывает стих.
"подарков не приму,
"здесь нет еще друзей.
"за хлеб и фрукты я благодарю.
"Молитва — небу.

IX

Босой ногою трогая волну
бегу закрытыми глазами
за ясной бабочкой
над морем
Аполлоний
крылатым взором тень ее следит
и вшитывая отраженье
ослепшая любовь блуждает на листе
пока мелодия еще заметна краем зренья.

X

Отверстая ладонь, приемающая свет.
 Похожая на бабочку в эмали
 Чей профиль — вырезанный плен
 Огня, застигнутый очами.
 Пускай она Луна, проросшая в огонь
 И коронованная им, иконописна,
 Затменный лик чей — Аполлон
 И ближний — Марсий рукописный.

XI

Глоссарий

Аполлон — бог; прославился тем, что на Дуде играл хуже одного пастуха.
Аполлоний — мудрец, святой, родившийся для того, чтобы Филострату было о чем писать книгу.
Адраста (*Адрастел*) — нимфа, воспитавшая Зевса; потом богиня, устанавливающая круговорот душ.
Башня Кубла-Хана — башня, приснившаяся Кубла-Хану во сне.
Китс — поэт, написавший себе эпиграфю: "Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде".
Кольридж — поэт, которому приснилась во сне целая поэма ("Кубла-Хан") в строчках.
Кубла-Хан — один восточный человек, построивший наконец ту башню, которая ему приснилась.
Лебедь — помощник(-ца) Аполлона.
Марсий — пастух, с которого живьем содрали кожу.
Протей — один из сыновей бога ветра и в какой-то мере отец Аполлония, который как будто является перерождением Аполлона.
Филострат (многократный) — артефакт; воспринимается как перерождение Марсия.
Черный ворон (Петербургский) — Вагенгейм, возможно вочеловечившийся Марсий.
Зидотел — богиня формы.

Александр Казанский

* * *

Ночь — сердце, стиснутое страстью...
 Взахлеб цветущая сирень...
 Все жизни, все цветы — во власти
 Меланхолических сирен...

И небеса светлы, как вера,
 Мне дума вешняя сладка —
 Я, как гексаметры Гомера,
 Читаю в небе облака.

Но как прозрачно ни гори я
 Душой, свободной от оков, —
 Ей не доступна эйфория
 Велеречивых облаков...

Сирени чуть вздохнула ветка,
 И, мятым нежа холодком,
 Луны снотворная таблетка
 Под божьим тает языком.

1988 г.

* * *

Ты останешься притчею во соловьиных языцах,
 Я же рощею буду, где славить тебя соловьям.
 Есть последняя тайна, доступная бедным словам —
 Ты останешься притчею во соловьиных языцах.
 Вечеровые росы ленивеют на медуницах,
 Над которыми нашим вовек не пьянеть головам.
 Ты останешься притчею во соловьиных языцах,
 Я же рощею буду, где шамым кипеть соловьям.

* * *

Вот и тепло, слава богу!
 Щурим от солнца глаза.
 Перелетает дорогу
 Смертная стрекоза.

В небе белесые полосы...
 Ласково кликнув "Ба!" —
 Ветер березам волосы
 Отбрасывает со лба.

Бабочка пеплом полета
 Выпала вдруг наобум.
 Перекрестила зевоту
 Ветхая музыка дум.

И от невинных идаущее,
 От голубиных высот —
 В сердце поет равнодушие,
 Тоненько так поет...

Где-то на севере-замяти
 Снова качают права.
 В реанимации памяти
 Дышит любовь едва.

Что ж, мы еще не пропали,
 Да и труды наши то ж —
 Вот и стихок накропали,
 Словно накропал дождь.

11 сентября

* * *

Тальке

Ночь обмерла... Ты — чуть чужая.
 Душа — не талая свеча ль?
 Я вновь сонливо провожаю
 Твою рассветную печаль.

Притихнув, в сумерки мы входим.
 "Снег наш насущный даждь нам днесь."
 И вдруг отчетливо находим
 Себя в серебряном НЕ ЗДЕСЬ.

Нам что-то на ухо сказали,
 Нас кто-то за руку ведет.
 Мы оробели в тронном зале
 Зимы, которая грядет.

И над тропой в фонарном круге,
 Застынув, как в лучах луны,
 Ветвей молитвенные дуги
 Сусальным льдом застеклены.

И словно матовая крупка
 Жемчужен, брызнувших на стол,
 Они позванивают хрупко,
 Где нежный ветер задел о ствол.

О, в божьих снах всему есть место,
 Но вспомнится, быть может, лишь
 Вот эта мгланстая челеста,
 Инструментованная тишь.

И если от тебя уйду я,
 То лишь затем, чтоб вновь в раю
 Глухом искать тебя вслепую,
 Ночную музыку мою.

10 декабря 1990г.

Безгазгоальность

Облак синеву латает,
 Мост через нее мостит...
 То ли старец дым глатает,
 Безучастен и мастит.

Ветер листвие листает,
Ластится, ликует, льстит,
Шелестеет, шелестает,
Шелестует, шелестит.

Сонный ангел пролетает,
Чьей-то жизнью владеет
и, баюкая, грустит.

По иным мирам плуствует,
В душу звезды заплетает,
Снежно крыльями хрустит.

11 сентября 1991г.

* * *

На чьей скрижали писалась повесть
Души — химеры ?..
Мы задолжали: я Богу — совесть,
А он мне — веру.
Читаю в сердце твоём, ровесник,
С немым испугом..
Уж лучше б знатья мне с доброй песней,
Чем с добрым другом!
Ты слышишь — куш берез и ивы
Поют вдольно...
Наверно, гаупо... быть может, лживо,
А только — больно...
В пустынной тверди кружится кречет
В полете щедром..
С осенним ветром обняться б крепче,
С осенним ветром..
И пусть хмельного меня б катил он
По бездорожью,
Качая мною, как поп кадиллом
Во славу Божью!

* * *

От синего блеска болящие
веки сошурив,
Мир вешний и грешный
со всей его славой и гилью,
Врастая древесными нервами в кожу лазури,
Стоит у причастья
под солнечной эпитрахилью.

Все отдано свету — и тело,
подобное воску,
Бесформенно никнет, и сон
в озаренье потоплен,
И память, срываясь в ущелья
промозглого мозга,
На миг огушает сознание
бессовестным воплем.
О, душная мудрость хмельного
дородного неба,
Я выдумал тайны — все те,
что зовешь ты своимм,

URBI

Во имя легенды, во имя
насущенного хлеба,
Во имя бессилья и творческой
мести во имя.

Мне ветер банальный разметывал
жидкие космы,
Я думал о смерти — узор этой
муки размылся,
И тщетно вращался мой нищий
и зябнувший космос,
Где слово глядится звездой
в преисподнюю смысла.

13 мая 1991 г.

ЛИТЕРАТУРА НА ПОЛЯХ

Александр Казанский

Бродский
(эссе)

К сожалению, я не умею думать, — в противном случае это кончилось бы так плохо, как мне бы того хотелось. Мне кажется, что в общем я задуман природой как глупец. И в том, что я не настолько глуп, как мне, быть может, следовало бы, есть какая-то неискренность. Точнее, в этом моя откровенная лживость. Однажды, читая дневники Камю и, по старой привычке, тщательно отчеркивая карандашом понравившиеся места, я вдруг наткнулся на запись: "Словно книги, где подчеркнуто столько фраз, что начинаешь поневоле сомневаться в уме и вкусе читателя." Я подчеркнул эту фразу.

Парадокс — эта экзотика в сфере мысли — есть способ уничтожить мир или самого себя, оставив обоих в неприкосновенности.

Вероятно, я все время пытаюсь доказать себе, что я в такой степени способный человек, в какой степени я нелепый человек. Но это ни к чему не ведет.

Солнце прекрасно в его счастливом влиянии на явления и предметы (листва деревьев, дождь, река, женские волосы) и отвратительно само по себе. Мне по душе наклонность дня к вечеру. Таков мой символ веры. И будь я проклят! Умоляю!

Но я хотел говорить о Поэте. (Кощунство — величайшее наслаждение). Его имя Иосиф. И он, как библейская знаменитость, был продан в рабство самому себе. И оказался рабом нерадивым. Хозяин и рад бы наказать раба, не прочь и казнить, но тот заговорил его, как лукавая Шехерезада своего жестокого господина. И казни не будет. Вечность будут длиться говорение и внимание. Тысячу и одну вечность будут длиться.

Что может быть ослепительней и опасней зрелища стремительной неподвижности? Поэт знает о "взапуски замерших стульях" и о статуе, стоящей "не покладая рук". Не смертный ли ужас должен испытать он, увидев в глаза движущееся остальное?

И поэт, как задерганная нянька, гнусаво напевает колыбельную вещам и смыслам, плотно запеленутым в слова. Мир должен быть не оправдан весь (как рыже восклицал рыжий Бальмонт), — но уличен, т.е. назван, чтобы избавиться от него.

Тем более, что вещи и смыслы могут так же желать смерти, как усталые или больные люди.

Довольно. Из этой затем ничего не выйдет. Нет ничего подлей "метких характеристик". Я не хочу говорить о Поэте. Я хочу говорить о себе. Так мы пойдем друг друга.

"Что истина?" — спрашивал Пилат. Божественный вопрос человека — человеческое молчание божества.

Нужно сдать на милость слов.

Знаю только: всякая истина настолько Истина, насколько она отливается в Музыку.

И поэзия есть идеальная форма несуществования, — ибо в высшем своем выражении она отменяет себя самое.

ЛИТЕРАТУРА ОПЯТЬ

Константин Лазарев

ИЗ КНИГИ ДВЕНАДЦАТИСТИШИЙ

* * *

Под вечер вербным воскресеньем
ты входишь, чувственно-тиха,
с каким-то грустным опасеньем
в пустую комнату стиха.
Апрельской мгле приоткрываешь
окно. Отстойной водой
зацветший кактус полмваешь
из кружки с красной каймой.
Волос каштановых струенье,
цветок и воздух молодой
исчезнут с первой звездой —
останутся в стихотворенье.

* * *

Размотан контур бытия,
и без того, увы, нечеткий,
дожди осенние... Где я?
Кто я? В застиранной пилотке
бреду ль бурятским холодам
навстречу взлетной полосой?
Иль кромкой моря, по следам,
спешу за девушкой босою?
Страдаю? Радуюсь? Пою?
Нет, милая, — скучней и глуше.
Мир нем. Томителен уют.
Газ выключен. И свет потушен.

17.10.1991 г.

* * *

Холодный ветер темноту,
а в ней деревья, птиц, прохожих,
между собою странно схожих,
распатывает на лету.
Я тоже в ней. Мои следы
по первоснежию чернеют,
лицо и руки коченеют,
как ветки, травы и пруды.
О, как тревожно заодно
быть с этой шаткой темнотою,
с небесной гулкой пустотою...
Но нам — отчасти лишь дано.

Дворник

Выходишь около шести —
под фонарем мерцают ветки
— в своей оранжевой жилетке
асфальты черные скрести.
Как будто бы облегчена
бесснежьем на исходе года
твоя работа, но природа
сама собой удручена.
Под обаяние линзы
подпав, стоишь... А вокруг барака
Окошек желтые птенцы
выушамываются из мрака.

Павел Калачев

КАМЕНЬ

Еще по пути я поднял его, округлый и плоский, он мягко вошел в ладонь и был приятно тяжел. Чуть подбрасывая его, я иногда взглядывал на разноцветные разбегающиеся трещинки и крапленые пятна красного и зеленого.

Я стоял на краю и смотрел вниз. Там, где наверное должно находиться дно, было ужасно темно, но выше было много светлее, а у края можно было вполне различить какую-нибудь травинку в растреснувшей глыбе, державшейся непонятно на чем. — Да! Вы правы! — вдруг сказал он. Я сначала удивился, потому что вовсе не был готов к этому, и хотел сразу же ответить, но не мог вспомнить, к чему относилась фраза, и тут же понял, что уже и не вспомню. И вежливая улыбка привычно стала растворять мне лицо, но — такая улыбка убедит его совершенно в том, что я не слушал его, что он неинтересен, и что меня, может, и тяготит его общество. И тогда я решился одновременно с улыбкой кивнуть головой, и как будто это было правильно; но если его фраза и не требует ответа? может, природа ее чисто риторическая — и тогда я выкажу себя откровенно нелепо; нужно этак несколько задумчиво кивнуть, как бы соглашаясь или не соглашаясь, как бы предоставляя всему решаться своим чередом; если только он не имел в виду что-то, касающееся непосредственно какого-то его собственного отношения к чему-нибудь, — тогда и неуместным и смешным будет этот кивок, этим я и навяжу свое мнение, даже соглашаясь; может быть, он произнес это как раз для того, чтобы я наоборот возразил ему и этим убедил его в его правоте.

Лоб у меня стал мокрый, и рубашка прилипла к спине, в потных руках я мял этот злопаучный камень, который, видимо, и отвлек меня.

Наверное, нужно посмотреть ему в глаза и открыто улыбнуться; это не покажется неуместным, поскольку открытое лицо всегда дружелюбно; но — если его фраза была ответом на какую-нибудь мою, которая и была основной, то это открытое лицо — словно маска, и унижит его бесконечно; необходимо извиниться и незаметно перевести разговор на что-нибудь отвлеченное, хотя это, конечно, может его удивить; и нельзя перевести разговор очень резко от темы, на самом деле волнующей его, — этим можно его и испугать, испугать нетерпением, невоспитанностью.

Я сразу устал, и мысль развернула мое тело и понесла прочь отсюда; лучше потом сослаться на нездоровье, и при этом необходимо посмотреть прямо в глаза, чтобы не вышло опять нелепо. Пальцы мои выдавливали из хрустящей обертки в позванивающий стакан снотворные таблетки. Я напишу ему письмо, где и объясню все, и скажу потом еще при встрече. Ну а что писать? Любое слово обманет и унижит. К черту все! К черту! Я представил смерть как то черное и непробиваемое взглядом внизу.

— Мне пора! Счастливо оставаться! — вдруг сказал он, и добрая мягкая ладонь его оказалась в моей, потной и потому противной еще и какой-то нежливой, что в нее то и дело валялся этот проклятый камень.

— До свидания! — подбодрил он встряхивающую меня всего свою руку, потом повернулся ко мне спиной и стал уходить; и спина удалялась, чернела все больше.

Злосчастный булджик снова оказался в правой руке, и столько было брезгливости в ней, что я размахнулся и рязжал пальцы. Наслаждаясь, я смотрел, как камень, крутясь и разрезывая воздух, несся в то черное.

Он обернулся и приветливо махнул мне рукой, и я почувствовал его улыбку, и тут же я услышал там, внизу, удар, и сразу же легко выбросился вверх правая рука, и я закричал:

— Приходите завтра вечером! Приходите! Нет! Лучше днем! Нет, еще лучше утром! Приходите!

Он кивал головой и улыбался. Я улыбался и кивал головой. И не думал ни о чем.

БЛИЗКОЕ

Я был как на ладошке, напротив ее глаз. Карие, мягкие, виноватые чуть, глаза ее. Они всегда были такими, они защищали и сами просили защиты, одновременно с моими поднимались обеспокоенно и, встретившись, умиротворялись. В них был свет, мой свет.

Я очень тихо понес букет к ее глазам, и она как-то незаметно приняла цветы и почему-то дала мне свою руку для поцелуя; именно для поцелуя, она подняла ее выше, много выше, чем если бы она думала о рукопожатии, как обычно и бывало, и это всегда сблизало нас, мы начинали именно после этого одинаково улыбаться и хмуриться чему-то, говорить о пустяках и растигивать эти пустяки соединившимися минуту назад нашими взглядами.

Глаза были чужие, она села в кресла, уронив руки как-то по-особенному, как будто я случайный гость, и меня необходимо будет занимать, и это ей уж так обременительно, что она даже и не пыталась скрыть этого. Господи! Да она и всегда, всегда именно так и роняла свои руки, именно так. Почему я не видел этого раньше? Завороженный нашим изо дня в день повторяющимся ритуалом встреч, я и не подумал, что это всего лишь обычные этикетные штучки; и, конечно же, благодушно вслушиваться в околесицу, что я нес постоянно, надеясь на какое-то вдруг понятое почему-то ей (мне казалось так) другое значение всего этого, ужасно утомительно; и как трудно при этом выдержать лицо, не усмехнуться, не подать случайным жестом намека; и тогда, когда я видел ее виноватые глаза, почему я не отнес это на свой счет? Ведь я, я вел себя совершеннейшим идиотом. Что я возомнил? Я каждый день кривляюсь возле нее — и еще думать о каких-то отношениях? Боже мой! Что вытерпела она за эти дни, пока я, уподобившись салонному самцу, ходил вокруг нее с распушенным хвостом!

О, глупости!

Губы мои горели, болели, и боль эта была постыдна.

И снова я увидел ее виноватые глаза! Какая мерзость! Я еще здесь!

Следую этикету, я откланивался, и смел еще в ее глаза смотреть, и расшаркивался, и на ее "Когда же я увижу Вас вновь?" что-то алгал красивыми словами.

Мокрый асфальт гулко принял мои шаги и стал закидывать их вверх; кошка, попавшаяся мне на дороге, зло фыркнула и шипела, выгнувшись и переступая лапами, оголяя когти, пока я не прошествовал мимо.

— Гусь! — кричала мне каждая лужа. Красным клювом я вдыхал воздух и чувствовал, как, накапавываясь где-то в зубу, он шипел, катившись внутри шеи, и плюхался, как в грязь, в мои легкие. Я тихо переваливался, чуть помахивая крыльями, весь белый, пушистый. И тут меня догнал голос:

— Ты куда? На дежурство? — И я кивнул в обалделые глаза.

— Ну-ну! Не опоздай! — И голос убежал в сторону.

Дежурство я принял. Все было как обычно, только мамаша одного пацаненка, которому лишь вчера начали прямить ноги, все бегала к старшей медсестре и шумела там. Старшая говорила, что пусть потерпит, он же мужчина, и не трогалась с места. А парнишка тихо, шепотом, одними губами:

— Больно, мама, больно, скажи им, пусть сделают укол!

Я спустился в подвальный этаж и пристроился на кушетке. Сон быстро взял меня, и карие ласкающие глаза заговорили: "Он был как котенок, ему оставалось только ткнуться в мои колени; и рука сама поднялась к его голове, но он как-то резко остановил мою руку, поцеловал зачем-то и ушел вдруг. И та музыка, которая мне снилась всегда, и вспоминалась, когда я смотрела на него или гладила его белую шею, кормя горохом, ушла вместе с ним. Он был удивительный; у него были очень большие для гуся крылья, он, наверное, смог бы и взлететь, если бы не был таким толстым. Но почему он поцеловал мою руку? Ведь никогда он не целовал мне руки, этого не было в наших отношениях. Он приходил, пожимал мне руку, я садилась в кресла, и он часами уморительно рассказывал что-нибудь, а теперь? Но почему он поцеловал мою руку?"

Голос, который я встретила на асфальте, разбудил меня. Я поднялась в мертвецкую, там

URBI

тихо плакала та женщина, которая все бегала к медсестре; она посадила меня к себе на колени; гладила шею и голову, расправляла мои крылья и дула на перья.

А в верхнем правом углу над кроватью с задрапированным телом, осененное шестью крыльями, светилось лицо.

— Жалко мать...

— Да, — ответил я, вытянув к нему шею.

— А зачем ты цветы принес? Ты же никогда не приносишь цветов!

— ?!

Музыка была очень тонкая и непривычная, она слышалась разноцветными поэтическими строчками.

— Наверное, — как в ее снах, — подумал я тогда; и проснулся. Рядом с моим лицом, выбившись из подушки, крохотное белое перышко трепетало от моего дыхания.

НОНЫ

Наверное, два десятка флейт были точно как человеческие голоса, но было уже довольно темно, да и дискотека проходила за городом, и Светка предложила уйти. Мы пошли, земля была черная и мягкая, и на ней было много-много следов.

На повороте стало уже совсем темно. Подъехал бензовоз с прицепом. На прицепе было написано: "Молоко".

— Куда? — я спросил.

— Это вторичный! — сказала девочка с прицепа. Она была с косичками и сильно улыбалась.

— Как это?

— Да из Аликсина!

— А сейчас куда?

— Не знаю! — и девочка очень уверенно тряхнула головой.

Люди — и женщины и мужчины — заехали на это транспортное средство и сажались, как на лошадей. Было им удобно, и места хватало всем.

А я свернул вправо и пошел в гору, где было еще темнее, и деревья мешали видеть звезды, но какая-то тропинка не давала уйти куда-то в сторону. Я долго шел по ней и все смотрел, как она становилась тверже и каменистее, а потом она стала вообще как выступ скалы, да и деревья уже все исчезли, и одна скала осталась, тропинка на ней и я, я шел по тропинке, прижимаясь к скале и не глядя вниз. Потом тропинка перешла очень плавно в кирпичный карниз, и по нему я тоже шел; и я слышал, когда я влезал в окно, что за мной еще кто-то идет. "Надо же, они не знают куда идти, как и я", — подумалось мне, и я прошел через несколько комнат, в которых на веревках сохли верблюжьи одеяла, на звук — прямо к спортивному залу. Я открыл дверь, съехал по правым перилам прямо к фортепиано и стал играть ноны.

У меня хорошо получалось. Рядом со мной стояли три парня с магнитофоном и записывали; а на другом инструменте, метрах в пяти, еще несколько парней что-то наигрывали. Конечно, я знал, что они не помешают, но мне было неприятно. И я представил, как бы кто-нибудь, будь на моем месте, мог бы побить их ногами, потому что руки у меня были заняты нонами.

Запись скоро закончилась. Я еще немного поиграл ноны и потом тоже вместе со всеми стал смотреть материал, и узнавал свои ноны.

А на экране круглое старушечье лицо все говорило и говорило, но я только слушал ноны, они подходили даже ко всем этим кочанам капусты, желтым репам, красным и синим свеклам, белому огурцу и другим всяким цветным съедобным и несъедобным вещам.

— Еще девочкой, да и сейчас каждое утро, хожу найти коня и глядеть, как он ест, как он пьет, как глотает.

— И вы нарисовали все это! — голос за кадром.

— Да! Вот здесь! — и старуха кивнула на правую, очень черную, мзбяную стену.

— Вот этим вот! — ткнула очень уверенно черным пальцем в овощи.

URBI

— Да! — опять голос за кадром. — Вот это все здесь...

Я опять стал узнавать свои ноны, которые очень шли к этим черным и зеленым трещинам на бревнах.

Когда материал закончился, я пошел наверх, постоял на крыше и хотел пойти к Аликину, но сегодня перешеек между ямами был очень узкий, и я долго раздумывал. Справа очень старые лесины казались острыми бритвами, но было красиво, а мне нравится, когда красиво. И я смотрел долго, и солнце, когда показалось, там, в правой яме, сразу забегали разноцветные паутины. И еще смотрел. Долго.

А Светка взяла меня за левую руку и сказала очень уверенно:

— Пошли!

Она была в брюках. Я подумал об Аликине, и Светка первая шагнула в левую яму, там недалеко была вытоптанная площадка для танцев. Светка шла туда, и я шел с ней.

Но дискотеки не было.

Мы ходили по мягкой черной земле и попинывали камешки.

— Что будем делать? — я спросил.

— Скоро бензовоз придет! — сказала Светка и очень сильно улыбнулась.

— Вторичный. Из Аликина, — тоже сказал я, чтобы она не думала, что я не знаю.

Я подумал, что мы со Светкой все-таки немного разные. Примерно на нону, примерно, если хороший инструмент попадется.

URBI

Георгий Харизов

Какая куртуазная метель!
Она приготовит нам постели
Из одуванчиковой пушицы
— ближе к июлю.

* * *

Капля упала,
Стала кристаллом.
Таяла, таяла
и перестала.

* * *

Осень хрустит на зубах.
Пусто, прозрачно и сухо.
Листья шуршат, и деревья скрипят,
мыши в зернистых амбарах пищат...
Шепоты позанежного духа.

* * *

И запах сена, и треск костра,
И гениальное море колокольчиков:
они не могут не быть смыслом
твоей жизни уже потому,
что смысла их жизни — ты, ты.

* * *

Если рассыпалось твое ожерелье,
Подаренное тебе задолго до пробуждения,
То едва ли соберешь его.
Разве что займешься этим позавчера?

* * *

И холодно и жарко сразу,
Для вас ни страха, ни стыда,
В забвеньи брошенную фразу
Замкнули древностью года.
Так странно в роковом полете
Живущий пламенем свечей
Узор мигущихся теней
Недвижим в серебристой ноте.
Так мягко, мило и смешно
Свет переагчатых сияний,
Молений, слез и покаяний
Уснул в душе моей давно,
Глубоко. Сон не тронет время,
Лишь неизбежностей стезя
Наполнит смелой злое семя —
Уст Ваших явленный изъян.

URBI

Зачем произнесли тогда
Вы эту проклятую фразу,
Зачем еще одну заразу
Вы сбросили на мир?
— Ах, да!
Вы там соскучились ужасно
И развлекались. Что за беда?

17.01.91 г.

* * *

Там цветет лилейно-нежный ландыш,
Там лежат на дне бугристом жемчуга,
Там стоят запорошенные стога
Пылью снежной. Там гуляет белый мышь,
Примечаемый полярною совой,
Снежный барс мотает круглой головой,
Ослепительным сиянием звеня.
Там лавина сходит прямо на меня,
Изумительно прекрасна и нежна.

20.01.91 г.

Василий Троян

ИЗ ГУРИЙСКОЙ ТЕТРАДИ

Не то чтобы я был уж очень артистичен, зато очень хотел быть артистичным. В детстве положено быть талантливым — рисовать, музицировать, ну, на крайний случай, в секцию спортивную ходить. Спускаясь с двенадцатого этажа на первый в лифте или пешком, пробовал напевать "Волшебника-недоучку" и убеждался сам: верно говорят про медведя на ухо ... Про волшебника-недоучку, однако, пел не зря: ему бы пошла кособокое кувшины, нарисованные на рисовании мной (оценка — "три с минусом"), олигофреническая резьба по дереву под папиным наблюдением (папа-то — умелые руки, со стен укоризненно глядят его чеканки с резьбой всякой, глядят, как папочка поправляет зарывшийся или соскользнувший резец сына). Волшебнику-недоучке сродни мое благоговение перед конструктором, моделями, которые еще собрать надо, но как? Ребенок вертит гайку или шуруп и шепчет: поистине, вещь в себе. Папе и маме на день рождения полагается произведение своих рук. Слепить? — только шарик из пластилина катать в ладонях умею. Нарисовать? — ну да, розочку на 8 марта рисовал вот так: * — похоже на розочку? Вырезать аппликации всякие — куда там, ножницы в руках танцуют. На уроках что-нибудь бы выдумать, но не с этими же гудящими стенками разговаривать? Хорошо, если пальцы не откусят. На выпускном экзамене по физике волшебник-недоучка теорию ответил прекрасно, но какого черта школьникам предлагают практические задачки типа: да будет свет! — в сущности, акт творения, да еще угрожающие шупальца клемм. И сказал он, что это плохо, очень плохо! В армии, когда у меня погас свет за планшетом, мне сказали: "Чини!" — "Вы что хотите, чтобы меня током убило?" Прапорщик Карпенко: "Раствор нужно вот так метать, вот так!" — "Ага, плыть!" — "Да не так мастерок-то, вот пиздобол!" Жижка, которая, по моему, должна стать стеной, расплзается и плачет. Сержант Филя выливает ведро на пол и собирает воду тряпкой. Ведро вылить у меня получится, а собирать как? — тряпкой вожу, а вода бегает от меня из угла в угол. А как красиво Филя тряпку выжимал! только не впрок мне, шамкающему, доящему набушую ткань. Всякие узелки и зацепки не давались мне сроду, сумку мне собирал Калачев, а рюкзак — дядя Марик, трубу паяльной лампой мне отогрел майор из секретного отдела, когда я был кочегаром. (Мне — тепло, а он, как в революцетт чекысты в многосерийных фильмах, в своем отделе в шинеле сидит). Пол за меня подметали замкомбригады подполковник Жидко, старшина моей роты и комбат, вырывая друг у друга веник. Руки-крюки, сделать хотел козу, сделать хотел утюг — что получилось вдур, как будто бы ясно. Но не совсем.

В спортсекции я вообще-то ходил крайне неохотно. В волейболе не научился ни подавать, ни на грудь планировать, а уж гасить и подавно. Невзлюбила меня к тому же тамошня мафия, взялась за меня круто. Дрался я с маленьким чертенком, презлющим, так-сяк, а тут мне корзину на голову одели — дело было решено: я плакал, но радовался — повод уйти из секции. На водном поло два занятия посетил, пролама туда-сюда, ясно: ни Сапегой не стал, ни Мшвенирадзе. А что же футбол? Уже в зрелом возрасте решил попытать счастья в Советском районе — вратарем. Глупая затея! Играть в одной команде с богом Фиделем! Мячики-то в Советском районе крутились и звенели, и пальчики отгибали, и свистели, и в сетке шуршали, успокоившись только за спиной. На дышочках унес свой стыд. Значит, ни петь, ни рисовать, ни рекорды устанавливать, ни мастерить, ни даже пуговицу пришить. Даром со мною мучился самый искусный МАГ, всемогущий Малюков. Как это он стремительно манипулирует бечевой! Вот бы мне так! Это было бы чудо. Суметь не умея — чудо, возможное только в мифе: недоучка, но ведь волшебник! Ущербность ставит на волшебство. Из трех желаний, которые есть шанс загадать волшебнику, первое — пианистом, второе — полаготом, третье — память, что ли, заказать необъятную и стремительную? Нет, первое — футболистом, второе — каратистом, а уж третье — пианистом. А память как же и иностранные языки? Черт возьми, как распорядиться? Мечты... А пока как бы извернуться, чтобы компенсировать отсутствие талантов?

В девятом отряде пионерлагеря один мальчик, который, распределяя роли в палате, мне сказал — будешь Пулс, Серге Горностаеву — будешь Крикс, а сам, сказал, буду Шеф — нетрудно убедиться, деловой мальчик — вот он-то и сказал однажды в сердцах после того, как я в очередной раз запорол уборку в палате (негодование Шефа разделили бы Фила и замкомбригад со старшиной — те десять лет спустя), да, сказал пророческую и значительную фразу: "Ты ничего, кроме как читать и писать стихи, не умеешь". Пророки сперва ошибаются — таким афоризмом я бы отметил своеобразие ситуации: ни читать, ни писать стихов тогда я, конечно, не умел.

Но свойственна мне уже тогда была, пользуясь удачным выражением Лешука, "дурная публичность": рвался на сцену пионерлагеря всеми правдами-неправдами, даже, помню, кувырки хотел показывать, тоже мне гуттаперчевый мальчик! Кувырки нам пригодятся как материал для метафоры, а у Красновой, звуку, такое не пройдет: ее критерий — салто и шпагат. А вот читать звонкие пионерские вирши пригодился. Набрать побольше воздуха и прокричать шинельную оду линейке — волнуемому каре белых рубашек, трепещущим язычком галстучков, так прокричать, чтобы грамоту дали. Гусиная кожа под белой рубашкой на факельном шествии: как бы не забыть слова ритуальной речевки, когда никто не забьет, ничто не забыто, а в гору катаются слезы? Теперь уж не забуду никогда: "Самолет направляет Гастелло // На колонну фашистских машин, // В тыла бесстрашная Зоя уходит, // Кошовой краснодонцев зовет, // И Матросов с гранатой на взводе // К амбразуре фашистской ползет!" Пионерский ритуал — чем не пролог к мифу? Ведь и факелы не с неба же взялись (хотя, по мифу, взялись именно с неба)! Позаимствованы у древних. Ритуал и стихи, порожденные ритуалом, — держим в уме. Однако Краснова пошла дальше: выбрала для меня из Заходера сольный номер — стихотворение про некоего лентяя, завмудющего бегемота, безделье которого не есть отклонение от нормы, но санкционировано самим институтом зоопарка, соответствует "структурному плану" бегемота, есть чему позавидовать: "Замечательно живет // В зоопарке бегемот. // У него огромный рот, // А забот наоборот". Имел успех. На гребне успеха сочиняю стишок под Хазанова (образец — пародия на Рождественского): "Надо иметь в боксе // Огромные кулачки, // Чтоб можно было // Проломить корабля днище, // Надо учиться отлично, // Особенно по рисованию, // Чтоб рисовать кистью // На соревнованиях." Успех ошеломляющий. На "улице" узнавали в пределах замкнутого пространства, в пределах маленького государства, каким мне всегда мыслась пионерлагерь. Структура пионерлагеря определяется двумя осями иерархии — официальной и неформальной. Неформальным лидером мне было никак не стать, а вот получить грамоту — лучше две — реальный план. Неформальное лидерство оставил для Вечерней страны, а вот тем прославился, что такой стишок написал — грамота обеспечена. Первый опыт, заметим, в жанре пародии, в комическом роде. Мне было десять лет, и я был не Ника Турбина. Пародия для ребенка, если он хочет быть талантливым, есть средство прилепиться к жанру, к творчеству. Прилепиться не получилось.

Следующий опыт — в восьмидесятом, года через четыре. Установка стиха была, если так можно выразиться, антилирическая. Во-первых, стихотворение принципиально пишется на случай, во-вторых, случай "не мой" и "немой", ничего не говорящий лирическому "я". Избравший жанр отужден от жанра. Из меня такой же боксер, как и рисовальщик: так задается парадигма моей выдуманной, надуманной лирике. Будущий биограф напишет с подачи Шайтанова: "Поэт с детства был обречен на мертвый звук". Вот и в четырнадцать лет: анacreонтический опыт был посвящен чемпионке лагеря по многоборью Диане. Подростковая влюбленность? Ничуть. Диана безраздельно принадлежала кудрявому Женке, а я только упражнялся в условном стихотворстве: "Подобно солнцу излучаешь ты сиянье, // Легка твоя походка и тверда, // В твоих движениях пластика и обаяние. // А сколько мыслей в складочках у рта! // Глаза твои — чистейшие сапфиры, // А нос твой — совершенства эталон, // А запах тела не земной, а будто миррой // Твой стан окутан тонкий. Аполлон! // Зачем ты дразنيшь нас, ничтожных, право? // Зачем такую ты рождаешь красоту? И я страдаю, мучаюсь бесславно // И в страсти горькую терплю нужду". Увы, моя первая муза звалась Диана, и с тех пор мой выбор жесток: кем быть? — Ипполитом или Актеоном?

В дальнейшем пародийность усиливается, а воспевается не просто случайный, но

чуждый и враждебный объект. Воспевание как средство поругания. Таков пафос стихов синтез-оперы "УПК" (1981). Тезис-парадия, которая есть прием; цель — присвоение поэзии, кража таланта с парнасских складов.

1982 год — антитезис. Шестнадцать лет. "Весна" рифмуется с "без сна". Открыла стихию в себе. Стихи были неизбежны. Захлебнулся лирикой. "Вселенная, Вселенная — и крест. // Исус распят — Исус воскрес. // Пусть будем счастливы в любви, удачливы по службе и богаты, // Но никогда не будем мы распяты // И не воскреснем никогда." "Любить — Жить. // Не любить — убит. // Не любить — преступление, // Смертноносное безделье, // Бесцелье". "О, душа моя, // Разжиревшая свинья, // На даровых харчах // Цветок зачах, цветок зачах". Вот такой порыв. Порыв иссяк, а творчество — по-прежнему заветная цель. Что делать? Пародировать, играть в поэзию под покровительством Комического.

В Мирном (82-83 г.) за партией передо мной сидели две уродины. Две вмятые уродины, которые взяли надо мной шефство. Одной из них — той, которая поуродивее — посвящая очередной анакреонтический опыт. Весь эффект, легко догадаться, в несоответствии жанра объекту, и этот комический эффект есть санкция: можно писать стихотворение. Больше всего я хотел улететь из Мирного обратно в Москву. В этом желании была страсть, идея-фикс: поскорей бы не видеть уродин за партией передо мной — вот это было бы лирическое высказывание. Я же писал комически-меланхолические строки, имитировал отчаянное прощание: "Что ж осталось? Только память. // До черты — черт воскресенье, // В зыбких водах отраженья. // Отражением таять, таять".

В Нижнем (83-84 г.) мы сидели со Зверевой каждую ночь до четырех — на подоконнике. Она была нежна. Я был невинен. Лия Старосельская на Дне Первокурсника идеально описала типическую ситуацию. Надо было построить аллегорическую фигуру. Я встал на стол, предварительно указав каждой из девяти девочек, какую им позу принять: одна должна воздеть ко мне руки, стоя на коленях, другая должна воздеть ко мне руки, как-то по-другому стоя на коленях, и так далее, сам же я — на столе, подняв правую согнутую руку, сказал: "Я — Аполлон." Все должны были понять, что девять девочек вокруг меня — девять муз. Старосельская, пятикурсница с КВН-овской жидкой декодировала мой текст следующим образом: "Они стремятся к нему, а он к знаниям".

Уносился к знаниям с подоконника, а в стихе писал, отдавая дань доновской грубой анакреонтике, будто я-де искатель прелестей, а она — отлаз. Антиамерика. Ситуация-перевертыш: "Я смотрю на Ленку — // Страсть из-под ресниц, // Ах, попал я в плен к ней, // В сети, в клетку, в плен к ней — // Удаваю ниц". "Голые две стенки // Венчаются окном. // Голые колени, // Ленкины колени, // — Запретом и замком". Рассматривая в микроскоп следы своей музыки, замечаю: стихи не были самоцелью, но, пожалуй, средством мифологизировать быт, перевести явление повседневности на язык поэтической игры.

Вот Казанский сошелся с Ару. Моя реакция — баллада-эпиграмма: "Средь знойных долины Дагестана // Цвела цветок любви — Арушаняна. // В пустынных пустыне мексиканской // Росла колючка злобная — Казанский".

Или — лекция по старославу. Лекторша предавалась диахронии. Как же менялось качество губных звуков? Как же при них развивался вторичный вставной звук? А я пишу свою "Любовную песнь на старославянском": "Но почему губная артикуляция речей любви (О сладкая! О дикий мед), // Губная твоя артикуляция так далека от язычной? // Языческой! Орган языческим богам, // Славянских языков и губ сплетенье". "Помнишь тот призвук, // Что при губах развивался — легкий, вторичный — // легкий, вставной?.." Лекторша рассказывала, как в разных славянских языках произносится слово "свеча". Я записываю: "Кап! Капнула капелька — воск раскаленный — мозг воспаленный. // Кап! Только не капайте мне на мозги — не надо!" Так я выражал свое отношение к старославу. Но отношение к старославу задано, не в нем дело, а разве в отношении к отношению к старославу, в желании обыграть старослав — говорю я, пытаюсь использовать два значения слова "обыграть", старательно намекая, что здесь не только спор приема с материалом, но и отчаянный спор.

Получалась двусмысленность? Но двусмысленное выражение есть означающее двусмысленного положения. Что это я? — все о любви, да о любви писал? Не могу не

вернуться к этому разговору. Речь о любви, потому что о любви не было и речи. Босые пятки по коридору в пионерлагере, с лестничной площадки — полоски света: завернувшись в простыни, пробегали пионеры в правое крыло корпуса, где и совершался весь этот ночной шепот и скрип кроватей, а в коридоре — целомудренные поцелуи, смех то здесь, то там: "А она дала мне грудь пощупать". Рассказывая об этом, я слегка рискую — вот и Аникеевой рассказывал: а я, говорю, в этом участия не принимаю. Дура, должна же была понять, что в этой откровенности — прием, ретардация, что я кручу миф, где Иван не станет царевичем без дураков. "They giggled fit do die" — Аникеева с Лидой, за животики держались. Самоирония — любимое зеркало Нарцисса, у которого не получилось с Эхо. Аникеева, ведь факт, равна себе, только толще — но что толку, что я сейчас ей мшу, если тогда, задумав обыграть факт перед фактом, задумав особенно извернуться, сказав: "Не получилось у меня", — я услышал только смех, и толстое эхо повторило, кривляясь, дескать, "не получилось у меня", и повторяло раз за разом всю смену уже в 1988 году, перед самым паломничеством, перед самой Ларисой, в пионерлагере, где я был вожатым. "Не получилось у меня", — говорила Аникеева, делая губы дугой и беспомощно разводя руками. "Не получилось у меня", — говорила Лида, поднимая брови и делая жалобные глаза. И фыркают: очень смешно!

А в армии решил рассказать одному hot-shot guy из Челябинска, как волшебю мне жилое на гражданке, в мифическом Нижнем, который в палатке среди песков Бахашского полигона мной воспринимался как пятно, как чертовое колесо, как диафильм в коробочке, как... миф? — услужливо подсказает читатель в пятисотый раз произнесенное "миф"? — именно как миф, — скажу и в пятисот первый раз, ибо повторение слова входит в поэтику мифа: хождение кругами, тавтология и всякое тождество. Миф, миф и еще раз миф, Нижний был мифом, был мифом. Непосредственным поводом, чтобы заглянуть в этот... мир был рассказ челябинского заправского парня о том, как он на гражданке играл в сардинок. В темной избе набивалось народу, и ну друг друга любить по каким-то темным правилам! Я ужасно смеялся: а вот поэтическая и странная зарисовка, — говорю. Представь площадь. Скамейку. На ней Ару с Казанским, и я. Они целуются. Губы влажные, алые. Глаза тоже влажные, с искоркой. А я там что? А я с томиком переводов Шелли и Китса — третий. Читаю: "Безутешный соловей заливается в бреду. // Смертной мукою и я постепенно изойду".

Вытягиваю шею поближе к слитному дыханию, оставляющему на губах росу. Это ирония, объясняю я челябинцу, это подчеркнутое: я — третий, это игра в третьего, игра в треугольник, маленький спектакль, большая трагедия, всеохватный миф, а тетка, проходя мимо скамейки, не может сдержать смеха, Казанский улыбается, а Ару, чуть запрокинув голову, показывает белые зубы. "Тебя должны судить", — сказал челябинский пзйбой. — "То есть?" — "За распыление семенного фонда." Узбеки, айзеры, хохлы, дагестанцы, аварцы, татары, русские, армяне, Мамуладзе из Батуми, от которого рукой подать до Ланчхути, казахи, уйгуры, курды, каждой твари по паре спрашивали у меня, видел ли я живую п...? "Нет", — отвечал я. Зато стихи писал на старославе про любовь. Вот какая игра на старославе. И миф? — спросит догадливый читатель. И миф.

Писал Зверевой. Писал на восьмое марта Горшковой: "Томный цветок коварный — // Лилия благоуханная, // Твой аромат несравненный // И узор твоих лепестков изящных // Отраду забвенья сулят. // Но боюсь приблизиться я, // Ах, боюсь, ты цветок коварный, сердце мне разобьешь". Такая разобьет сердце, толстая, как Аникеева!

Так вот, конкретный адресат, стихи на случай — это только приступ к мифу. Вот читайте:

П. Калачев

Небо замок — руины
Верность страсть — сполох
вещей жизни картина —
сердца переполох

Сердце щелью сдавлено
 Кровью душа кричит
 Святости море отравлено
 Последний стакан налит
 Пьяное взбрызни радугой
 Пенная ночь умчись
 День разрастись громадиной
 Смертью моей улыбнись.

А это я

Игры страстей,
 Ненавистей:
 Плаха, огонь,
 Желчь, кровь, оскал,
 (Волам: отколь?)

Был скот ведом
 Свыше. Восстал
 Снизу, влеком
 Змеем? – Нутром,
 Глазом! Умом?
 Чревом! И путь:
 Яблоко – зуб –
 Сок – кровь – пах – тел
 Помски – губ
 Помски – ртуть
 Верх там (вопрос!)
 Что? Се вокруг
 Что? (Вот пророс
 Вглубь. Рвется вон!)
 Я – Кто? – И плен
 Вечный – и круг
 Вечный – и грех
 Смертный – и тлен
 Смердный – и смех
 Мрачный – вновь
 Крик, страх, обман,
 Прах, пресс, сон, кровь –
 Гонка в туман ...
 (Волам – доколь?)
 Игры страстей,
 Ненавистей.

Прочитали? О да (боже мой, какая беллиберда!), после калачевского "Смертью моей улыбнись", что такое "Original sin", уж я-то знаю. Кошечная композиция. Рифма ищет себя иногда рядом, а иногда восьмью строками выше. Классно придумано. У Казанского с Калачевым, которым я сие показала, истерика: на парты попадали, а смеются – надо мной: греха вкуса или Цветаевой накушался? Черновые наброски еще круче. Хор из оперы "УПК": "Любовь в основе мироздания, // Любовь – двух атомов слиянье // В молекулу, переплетенье // Двух нитей ДНК, растений // Стремление к солнцу, // Солнца ласки // Ответные. И страсти пляски, // Когда в период брачный самки // Самцов манят. В экстазе ранки // Укусов нежных след оставляют // Самцы подругам. Когда ж встречают // Соперника..." "Ранки укусов нежных" – это ж умереть можно! Далее: Работа, томясь от страсти к Болтуновой в опере "УПК", признается своему другу и сопернику Тигру: "Из розовых теней мое воображение лепит // Стан тугобедный, // Грудь, как плоды, упругие..." Далее: "Станок я обнимаю, тиски поглаживаю". Это

речитатива. А тигр ему вриво: "Как древал Каин // Взалкал от порока, // Как солнце злата // Иудину сераду, // Как в первые ночи // Трепетал блудница, // Так у окраин // Предела от рока // Любви — расплата". Волшебник — недоучка сочинил, стесанутый Филддеперс, устат от теоремы, или чемпион мира по секс-спорту среди юниоров в ожидании самолета Москва — Ланчхути — Голлывуд?

Вот напалел — чтобы сыграть, сыграть вернее, чем прожить, вернее, чем "Любить — жить, не любить — убить". "Не любить — преступление" — по челябинскому ловцу сардинок. Но нужно связать Звереву, Горшкову, Болтунову, змея, Адама с Евой, "как древал Каина", все на свете... ну, об этом мы уже писали.

"Выходи за меня", — говорила я Ольге из Нижнего, — "Я тебе буду стихи читать". — "Это в одиннадцать, а в двенадцать что будешь делать?" И так, я писал "Любовную песнь на старославянском" — продолжение всех этих условных "выходи за меня", а, может быть, начало волшебства, что-то вроде магии слова? И что же вы думаете? Чудо случилось. Явился ангел ("angel-infancy") из моей будущей диссертации. Представьте: лекция вынуждает вывихнуть челюсть в зевоте, скака смертная, лекторша — седаа, усталая: вытаскишь англо-русский словарь — попереводит, подойдет, как тень, и не выгонит, а скажет тихо: "Уберите". Снова вытаскишь — снова подойдет. Сама Прозерпина в старославянском Эамзкуме. Шуршание мела, шелест тетрадей. Медленные волны дахроники. И тут дверь открывается, встает девочка лет пяти: "Мама, я нашла себе подружку, чтобы с ней играть!" — да звонок так! Прозерпина становится Весной: улыбается, смущается, расцветает. А моя мама тогда была в Мирном, но есть река еще даальше.

А в деканате меня спрашивали: "Слушай, как ты относишься к Казанскому, что думаешь о нем?" — "Гений". — "А Калачев?" — "Гений". Калачева — обо мне: — "Гений". Казанского — о нас: — "Гений". А куратор группы начинала свои речи всегда так: "Вы, конечно, гений, но... Но все же вы не Бодуэн де Куртэнз, я не Фердинанда де Соссюр". Справедливо.

Итак, по кругу (в мифе нет спиралей): тезис — антитезис — снова тезис. Новый америкеский порыв — в армии. "Я сегодня высоко настроен. // Почему же нет такой мечты, // Чтобы была я счастья удостоен // Ей служить, не внемая суесть". "Мне снится бездна голубая // И розовое солнце из-под век. // Благословенна участь мне любая, // И что под богом ходит человек". Про высокий настрой сочинил, мечтательно гуляя между КП и капопирами. А про бездну голубую — на ПВНе, глядя в голубое небо и сонно шурясь на неизменное солнце. Закончил за планшетом. "Мир под рукой, а сердце бьется, // И вена наполняется, дрожит. // На то и жизнь, чтоб жить, пока живется, // На то и смерть — пока живется, жить". Откровение, надо же! Но ведь чувствовал же я момент истины за планшетом! Трудно поверить, но факт. На пост ходил, засунув в штаны Букина или С. Аксакова и закрепив ремнем. После отбоя читал Чивилихина "Память". А что? — он о Кузьминках написал. А я написал Гаррисову после отбоя: "Гаррисон, учись любить Русь!" В стихах: "Понимаешь ты, как отрадны мне // И свинец и стын // На родной земле!" Так сочинил, а еще каялся: "Я не дрянь, а только не мужчина — // Мотылек, порхающий в лучах. // Будет срок, повеет мертвечиной // От души, погрязшей в сладких снах". Интересно, настал уже срок?

А о любви писал? — уж конечно, всюду призывал: "Бродит узкий месяц в остром забвении, // Лягут псы цепные на его рога. // И его просторы — звездные луга, // И его дороги — горные пути. // Вот я к ночи вышел, вот дышу весной, // Ну же, мое сердце, вздрогни ото сна! // Слышишь, небо, слышишь мой звериный вой, // Чтобы в мое сердце хлынула весна!" Или даже так: "Чего-то ждет, томится моя кровь, // Звездой дальней светит мне любовь". Как же нужно глубоко чувствовать, чтобы рифмовать "любовь" и "кровь"? Я чувствовал глубоко. Писал плохо — увь, не таков ли закон? Лучше всего о дембеле (потому что мифологема): "Ну что ж, прощайте, командиры! // Прощайте горы и Айваджи // Печать и подпись: в этом мире // Теперь уже не данник ваш". "Дневальный по роте, дневальный по звездам, // Дневальный по ночи и белой луне. // Все это мое, я для этого создан. // Стою и мечтаю о будущем дне". И, пожалуй, остается стихотворение, которое я сыграл — без вдохновенья:

URBI

*"No, I'm not prince Hamlet, neither meant to be".
T.S. Aliot*

Нет, я не Гамлет, и не буду им.
Рассыпался в прах, проглотит ночь меня,
Но на вершине розового дня
Я счастлив положением своим.
Нет, я не Гамлет, и не буду им.
Лишь тает светоч, очи застит дым,

Творятся в мире скверные дела,
Но мне природа островок дала.
Я счастлив положением своим.
Нет, я не Гамлет, и не буду им.

Немало нас, и мы на том стоим.
Мы — зрители в театре. В корчах прищ.
Играет кровь, стекает сок с ресниц.
Я счастлив положением своим.
Нет, я не Гамлет, и не буду им.

Нет, я не Гамлет, и не был им тогда, но Армия — удивительная вещь, химическая реакция, а в осаде — Джекиль или Хайд. В столовой, на разводе солдат — зверь с печальными глазами, а за планшетом, на ПВНе, во время ночных прогулок с автоматом или следя за белым облачком, вылетевшим из трубы кочегарки к тяжелой душанбинской луне, солдат — мечтатель и ребенок, вдохновенный и наивный поэт, он идет древнею тропкою тропя, извиваюстою тропкою тропя, идет с автоматом, преодолевая слепую и славную первобытность, не имея готового понятия, чтобы с ним выжить, цепко держась за метафору и метонимию. А ведь это опять миф! и в нем мир делится на две части: "низ" службы и чужбины и "верх" гражданки и дома, где гурии будут ласкать правоверного дембеля. Солдат жесток, жаден, завистлив, труслив, низок, жалок, падох, слаб и т.д., и еще умножьте на три: зверь среди зверей, мистер Хайд, субординация по отношению к "порядку хлеба". А ночью с автоматом выходит прозрачный путник, освободившийся ангел Джекиль: чист, светел, любвеобилен, прост, добр, чуток, не от мира сего. Чудовище мечтает нажраться на гражданке, ангел шипит стихи. Ноэтов не мой стихи, вот разве одно: о том, что я хочу только перейти это поле, пусть все утонет в фарисействе, о том, что кровь не холодеет. И как там еще у Тикамуры? "Дайте живому жить, как он хочет, пока не смоег его этот дождь".

Гражданка — это крах. "Гурия" вышла в высшую лигу, но никаких гурий. И никаких стихов: хоть бы пообедай пародии! Только опыты на восьмое марта козлякам из второй группы — ну не насмешка ли над собой? "А Браверман браверно манит, // Не подведет и не обманет. // Она дана на радость нам. // Браверно манит Браверман". В том-то и дело, что подвела и обманула, и с 87 года от этой бравой Браверман горчит. Говорят, она уже в Америке. Последняя толстая Муза, прощай! Уродины на парте передо мной, Горшкова и Браверман. Я писал вам стихи. Это малокутливное самоубийство! Я хочу еще жить. Говорю так, потому что мне является Муза — настоящая, беспалатная. Тезис — антитезис, снова по кругу: тезис — антитезис. Когда же синтез? Когда состоится миф, который соберет в себе все мифы?

1987 год. Первый гурийский поход. Вдруг непогодой сдуло всех байдарочников — в один миг собрались, и мы остались втроем — т. Тамара, д. Марик и я. Трое в лодке, не считая гурийской тетради. Грустно, а как бы так сделать, чтоб стало весело? В голове вертится дурацкий песенка д. Семена: "Мы духовные начала вышшим благом признаем". Мерный замак весла, пасмурные брызги, а нос лодки нервно режет воду. Муза шепнула: пиши под весло. "Что, опять экзерсисы?" — недоверчиво спросил я. — "Не спеши", — возразила она.

URBI

Элегия

т.Тамаре и д.Марику

*"Мы духовные начала высшим благом признаем".
С.Гербовицкий*

Глоссы: Туристы, оставленные шумной компанией, путешествуют одни и понападают под вавсть незнаемых сил, во вавсть движения, покоя и тоски.

Три потомка Агасфера
По Мологе по реке
За бродячую химерой
В одиноком челноке

Все плавают, и годы, годы
Будут память в немой тоске
Три старинных морехода
По Мологе по реке.

Было время: солнце встанет,
Сдует хвойную росу,
Будит многолюдство в стане,
Эхо звонкое в лесу.

Было время: камнем, хором
Остроносые суда
По волнистым коридорам
Шли беспечно. Ныне ж ... Да!

Мифовалось, отшумело.
В мерном плеске сонных вод
проплаывают сонны села
До неведомых широт.

Вечный ход. И все к Востоку
Правят вечные пловцы —
По Мологе до притоков
Стикс, Ахеронт и Коцит.

Эти трое, как в начале,
Все еще поют втроем:
"Мы духовные начала
Высшим благом признаем".

Только уж напев не светел,
Только уж затвержен он:
Где кричал веселый петел,
Стоит мрачный Аалкион.

Поэтическая инициация в непогоду. Как я скреб бачок по окончаним плавания! Водичка и песок — вдруг слышу музы голосок. Пора: пиши стихи, не умеющий писать стихов, ибо так сказал Шеф — и да будет так! За что ты, Шеф, изгнал меня из палаты? Зачем ты гнул мне девницу? Не ставьте мне монументов! Дайте мне шанс — я буду хорошо убираться в палате. Убейте меня и сделайте из кого-нибудь что-нибудь другое, а я уже другим быть не могу.

Так я начал писать гурьийские стихи. Попробуйте сказать, что они не талантливые!

URBI

Когда Федоткин назвал гурийские стихи дурийскими, я заболел. Не то чтобы я был очень артистичным, зато очень хотел быть артистичным. Так хотел, что стал. Попробуйте сказать, что не стал! Тогда я не просто заболею, я умру, стану лужницей или жабой. Не блеф, но миф.

А согнувшись над бочком, словно выполняя наряд, данный Шефом, сочинил так себе первый гурийский стихок:

Элитафия

Гурия в горние кущи на крыльях заемных взлетела.
Ввысь на крылах восковых — оных зиждатель Дедал.

Так, но суровые боги предела положили для дерзких:

Плавают крылья и падает звездный полет.

Дальнее солнце отрадною греет мечтой.

Близкое солнце губительно смертных мечтам.

август 1987

Итак, по рисованию тройбан. Но и здесь не обошлось без феи. Классе в седьмом (или в шестом?) пришла новая учительница по музыке, она же по рисованию. Окончила училище Иполитова — Иванова, хрупкая такая, дореволюционная. Очень хотела влить в наши уши музыку: нажимала на педали расстроенного фортепиано, опускала иглу усталого проигрывателя... конечно, проиграла. Под Моцарта или под Бетховена Чаадаева зацепила Фейзуханову (одна — пловчиха, другая — лыжница)? Яростная схватка с равными шансами, кувыркается парта, а я первый колочу по своей парте, выкрикивая: "Убей ее! Сделай ей больно!" А хрупкая — наша, трепещущая, с блестящей слезой, что она скажет побледневшими губами? — "Девочки, девочки"... Какам ветром тебя занесло в нашу школу, птичка из нотной грамоты?

Это она дала творческую импровизацию: нарисовать под Стравинского. Вот это по мне! Рисую звезды — опорный знак: то есть музыка есть нечто высокое. Плюс музыка есть нечто неопределенное. Рисую нечто неопределенное. "Очень интересно", — сказала фея и поставила пять.

Через пять лет я начал играть в художника. Хватит рисовать шпаги, рыцарские шлемы и профили всякие, пришла пора составить систему, в которой "двойка" по рисованию ("тройка с минусом" была ведь подарком) должна встать на голову, чтобы поражение стало победой, дурак царевичем, а младший брат наследником.

Получилось. Кто только не вертел мой опыт, приговаривая: очень интересно, как фел-музыкантша. А я хихикал: чудо!

Началось с аллегорик. Нарисовал какую-то тушь перьевой ручкой, возьми и назови ее "Бегство Гектора", потом пришло в голову подарить Кочкиной да прибавить толкование. Какую бы дурную завитушку перо не оставило — все можно интерпретировать. За изображением стоит миф, следовательно любое случайное движение руки есть магическое. Техника такая: сначала рисуется, а потом придумывается название и объясняется. В соавторстве с Калачевым, к примеру, построил объект из циркулей, стержней и прочей дряни, предположим тут загадку — и ну разгадывать! — такова тенденция: строить смысла, осмысленный мир из мусора, из остатков: бой быту!

Сядь в общагской комнате Ару, рисовал женщину: вареньем, губной помадой, какой-то мазью красной и всякой другой косметикой. Подумал и назвал: "Палч Андромахи", а идею присвоила следующую: трагическое величие женщины безобразно. Картина вахнет, липнет, мажется — славно! — тем больше органики, натурализма! — а воспринимающий все это безобразие, разложение, вонь должен воскликнуть: "Боже, как она его любит! Сколь величественно! Эффект остранения!" А мужи будут слетаться на варенье, как будто почуяв кровь Андромахи, то есть как птицы на Аппалесов виноград. Папаша не прочел всего этого и выкинул шедевр, а в придачу и всю стопку шедевров, замазанную женской помадой и вареньем. — "А то правда мужи летают".

Войдя в игру, вошел во вкус, пустился рисовать в разных жанрах, разнообразить технику, а концептов всяких завалил! Рисуем с Ильей бурное извержение вулкана:

важен не только итог, но еще и процесс. Лист на полу, мы льем (извергаем) на него гуашь, поправляя стижку карандашом, пальцем, едва ли не носом. Известно, что искусство видит на жизнь, особенно если переборщить с мифотворчеством. В Илюшиной квартире тогда временно жила весьма взыбалопная девчонка, и ей хотелось поиграть. "Мы заняты, — сказали мы ей, — видишь, рисуем". — "Я с вами". — "Нельзя". Слова "нельзя" девчонка не понимает. Тогда мы закрываем дверь в комнату, я навалился на нее спиной. Продолжаем рисовать. Но ничего не подделаешь: происходит реализация метафоры. Проклятая девчонка пытается брать дверь с разбега: бурные толчки, в ритм нарисованному вулкану. Далее метафора раскручивается по ассоциациям. Вылающий вулкан надо потушить, и обнаглевшее дитя начинает нас поливать водой через дверь. Мы терпели, улыбались, но надо знать Илью. С виду он спокоен, как удав, флегматик неколебимый, но что внутри у него? Как вулкан до времени скрывает бурную лаву, так и что выкинет Илья, что извергнется из Ильи и когда это произойдет, не предскажет никакой психолог-сейсмолог. Папа Илья —

д. Марик бежит себе трусой, прибегает домой, фыркает под душем, вышел из душа в халяте будничном, а ему — бац! — Илюша-то уже в поезде и молодой солдат. Маленькие, но Помзем. А с девчонкой у Илюши случилась истерика, репетиция будущих внезапных страстей. "Это детский фашизм!" — выбрасывал он слова, как кипящую лаву. "Это омерзительно!" — орал он, потрясал кулаками над "бедным ребенком". "Погода в Лондоне испортилась с тех пор, как лондонские художники увлеклись туманами," — говаривал О.Уайльд. Так что в следующий раз поосторожнее.

Лучше нарисовать что-нибудь из серии "Грех и вечное блаженство". Например, дать схему "мать — дитя": не нозо, особенно если рисовать толком не умеешь. Но хватит и двух точек, чтобы, повертев в руках листок, любой воскликнул: а вот это интересно! Поставим точку-зрачок в самый уголок глаза младенцу и матери, чтобы обратили они друг на друга подозрительный косой взгляд — какой хитрый знак получился! Вот так, волшебник-недоучка хитер. Обнаженную Хелену Фебенгерову (четскую метатальнику толщины непомерной) нужно изобразить в доспехах ее наготы (фломастеры, 1984). Лук и преточки для Прирниковой — потыкать фломастером и сказать: пуантлизм. Троянского коня — желтым фоном мозаику лиц, а поверх зеленым фломастером неопределенный знак морды и зубов (прием: несоответствие названия и изображения плюс пародийный намек на Гернику). И вдруг почувствуешь, что рука чуть-чуть приспособилась и уж тогда раскроется: банально, но трогательно.

На площади Минина был фонтан. Я набирал в рот воды и бегал за Ару. Калачев и Казанский сидели на дипломатах. Май 1984 года — солнышко светит, уголок рта замазан кремом пирожного, которое было моим обедом плюс двести грамм мороженого. Торопясь, палясь крошками и размахивая руками, я уплетал пирожное в "Козе", потом к фонтану, у которого на скамейке сидим с Ару и Прирниковой, Калачев с Казанским на дипломатах. О чем-то хотим, я набираю в рот воды и поливаю Казанского. Казанский хочет запомнить побольше стихов перед армией: будет про себя их повторять. Калачев еще на Урале узнал цену греха. Боже мой, как это необычно! Ару говорит: "Нарисуй мне что-нибудь". Я беру черный мелок, достаю альбом — пять минут — и готово! Девушка на скале". Восхищенная пауза над листком, скамейка пляшет среди маршруток 1 и 4 и 13 троллейбуса. Кирнич Кремля, Минин, "Коза", факультет, увиденные в магическом кристалле фонтана, мгновенная догадка о том, что небо-то какое голубое, а центр мира — грушка первокурсников, склонившихся над моим рисунком. Всем друзьям роздал по рисунку и наказал хранить под стеклом.

А в армии деревенский парень Куликов, забирая свой портрет, прослезился.

"Товарищ прапорщик," — говорю уже в Айвадже, — похоже на вас вышло?" — "Что-то есть," — угромо отвечает Карпенко.

Когда Круглов привез через полгода после дембеля альбом, отобранный замполитом за то, что я Карпенко не по уставу нарисовал, я уже вышел из игры. Было не до этого: "Гурия" вышла в высшую лигу. И только через пять лет, когда Прирниковая сказала "нарисуй крысу", я взял принесенные ею мелки и задумчиво провел жирную линию, Прирnikова взвизгнула, Калачев стал отнимать, спрятав, она нашла, он нашел и уже спрятал так, что не найти. Я смотрел на эту возню и игру, думая про себя: "Вот оно как в мифе", и смеялся идиотским смехом. И наверняка смех зашкочал в это время уже

URBI

постаревшую фею мою, которая где — бог весть.

Спускался, говорю, с двенадцатого этажа и пел "Волшебника-недоучку". Не получалось. А коли не получалось, нужно петь непременно публично и погромче. С тех пор, как родители купили магнитофон "Романтик" и тот записал "Come test the band "Deep Purple" и "Can we can" Susi Quatro, мой репертуар тоже изменился.

Только прозвонит звонок с урока, я начинаю бить каблучком в гулкий пол плас ладонями по парте, во все горло запеваю: "Sometimes I feel like a motherless child". Так пропел все перемены в школе, на первом курсе не успокоился, продолжил в армии, и только в Москве, на втором курсе, кто-то из второй группы досаждая поморщился: ты когда-нибудь замолчишь? — голова болит. Действительно помолчать бы. Ведь вокруг кого девочки обычно в кружок собираются? Вокруг тех, кто на гитаре играет. А на сцене можно и на барабане стучать. Но даже эта хитрая музыкальная грамота мне всегда казалась китайской.

Когда я играл на первом курсе в группе "English club", мы должны были исполнять всякие песенки хором, приятными, по возможности, голосами: "Snowflakes falling down", "Pardon me, boys, is this English club station?" Мне сказали: открывай рот, но чтоб ни звука, как звезда под фонограмму. Не было мне места в хоре, а значит в мироздании. Но вот Пиманова, которая жила с Ару в одной комнате в общежитии, распевается: пробует свой поставленный голос, сетуя на неверную судьбу, что не дала ей певческой карьеры, это при таком-то голосе. А я вдруг чувствую свою "fulthroated ease" и, прозвев губами, коснувшись неба струной языка, войдя в ритм гулкового пола, начинаю такой рок-н-ролл, что даже у Казанского глаза смеются, а Пиманова дает мне надежду: "Что-то в этом есть", — говорит.

В гостях у Катя, которая через три года все же поступит в консерваторию, нимаало не смущаясь, исполняю арию Розины из "Севильского цирюльника". "Хорошо", — говорит Катя (читай: причудливо, необычно, читай: перевертывай, такое не-хорошо, которому аплодируют: ох, хорошо!). Эту ноту я не возьму, да и не знаю как взять, вот и нужно сыграть на паузе, на шепоте, пропустил, но с намеком: не голос, но жест и знак. Ведь и слов песен по-английски никогда не знал, но пел по-тарабарски с английскими "R". Репертуар узок, а потому создается впечатление широты. На перекурах в горах, по пути в Ланчутти, не напевал, но пел: громко, на публику, противопоставляя себя гитаре маркиза с устойчивому репертуару графа с тетей Валей-от-всей-души. "Private dancer, dancer for morning", "Red rain is falling down, falling down all over me", "A vocalin in the foreign land, uncle Sam does the best he can".

Что же я так выхожу из себя? Ведь однажды уже доигрался в "человека-оркестр", попал в сюжет, о котором вкратце.

Началось все в поезде, который тащился в Душанбе с грузом новобранцев. Бритый лоб, липкий пот в раскаленном вагоне, влаяя мечта, чтоб все это было отменено. Надо с кем-нибудь познакомиться, в чем-то сойтись. Робко напеваю себе под нос, но с умыслом: Леня Иванов, который уже успел лекцию прочитать, какие рецепты "Камасутры" он использовал на гражданке, который каратист и двадцати пяти лет — вот бы ему рекомендоваться! — о музыке поговорить коммюльфо... Услышав: да спой ты погромче! Меня два раза просить не надо. "Глория!" — хриплю. Пять минут — и слева-справа любознательные рожи, потные, злые. — Кто такой? откуда взялся? вскоре уже на верхних-нижних полках набилась бритая публика, очертила рты, орет. А я, глухой, рад: чем не сцена? Стучу ногой, трясусь, в раж захожу: "I need you, I want you", "I want to ride my bicycle", "Everybody laughed, when I kissed the teacher". Нетрудно догадаться, дальше пошла ценная реакция. Сержанты в учебке заводят в бытовку: пойд! Левый отсек учебки, где куча азербайджанцев: уже смат публика в ленинской комнате: пойд! Штабники в курялке: пойд! Лежу в госпитале, но и туда дошел слухи; в одной палате со мной лежал дагестанец-дед и таджик только что из Афгана: хором — пойд! А пол в госпитале был, скажу я вам, прототипнейший, и вот уже я беру реванш за то, что не дали мне спеть в "English club" в хоре: "Pardon me, boys", наслаждаясь гулким ритмом. Вызывают в другую палату, туда, где лежал мой тогдашний суностан — Сагомони. Ара вышел и какой-то хохол с видом добродушного душегубства поднымал: ну, сбейдай что-нибудь, и плечами крутят, меня показывая. Чую неладное. Другой: что, сука, чуркам поешь, и нам спеть не хочешь? Рожа зверская, зане ары в свое время хорошо с ним

URBI

поработали.

— Ну, страй мою робу, — это хохол говорит, — мам уж пой! Головой мотаю, как Марат Козей. Хохол не понимает.

— Герой, говорит, — а арам петь не герой? Или ты дурной?

Я был дурной. Видите ли, решил взять артистизмом, а здесь такой артист, как Виктор Хара — Пичочету. Далее: снова поезды, везущий меня на этот раз в бухарские пески — на хипполгон. Импровизированные нары в товарняке, скущенность дикая, ну и скущца дедам. Чем бы заняться? А есть тут такой — поет. Подать сюда Ляпкина-Тяпкина:

— Пой!

— Да нет, ну я...

Тут как тут четыре жутких кавказца: пои! Марат Козей Марат Козеем, но... Одним словом, пошло по новой. "She gave me her body, but she gave it to everybody", "Sympathy for devil". Орут: "Hotel "California" давай!"

На полгоне мое пение приелось.

— Русское давай!

— Не знаю, — отвечал я, думая про себя, что русское петь заподло. Ирония мифа заставляла филолога отвечать, как будто вчера из кишлака: по-русски не могу. Потом танцевать заставляли (поешь, так танцуй), кричать: "Чик-чирик-кицки-ку-ку! Скоро дембель старьку!" — но нет, здесь предел, и я снова вспомнил про Марата Козей. Дал себе клятву: после полгона не петь. Не тут-то было.

В караулке дождалась скорого дембеля теплая компания из мастерских. "О чувак, — блестяе глазами один из них, — "А ты Рони Джеймса Джо знаешь? А как тебе АСДС? "Black Sabbath"? Слушай, спой, а?" Я ему:

— Да ты лучше магнитофон послушай.

Э-э-э, магнитофон и на гражданке послушать можно будет, а где такое на гражданке услышишь?

Вижу: парень с душой. Сдаюсь. Собираем с Молчановым посуду, вытираем стол, а мне:

— Бросай тряпку, зовут.

Там жаут меломаны. Сотрясаясь всем телом, выдают: "Money, over suney in the richman's world", "God, save the Queen, fascist regime", "Now I've got the reason: to be wilder", "Highway star", "Smock on the water", "Can we can".

Одного не мог понять: почему бладеющий дембель, а с ними Расул-огам и Виткин, со второй-третьей песни чуть не блевали от смеха, катаясь по полу? А Молчанов мне сквозь зубы: "Ты, ЧМО, дембелям поешь, а мы тут за тебя вкалываем." Смотрю на него: вроде очки на носу. "Затки хлеба", — говорил. Дрался за столовой, он даже очки не снял, зато так мне по уху зафигачил, что поймал я момент истинный. Молчанов был из мастерских, и тамошние дембеля давно ему ребра считали, ну и посчитали еще раз, а мне Москва за Молчанова отомстила:

— Обурел? Самый хитрый? Поешь?

Москва востренький такой, противный — бац! — ваотмашь — бац! Позже объяснилась причина смеха. Смеялся, дай бог, не столько надо мной, сколько от хорошей дозы анаши. Анаша плюс моя песня — что может быть чудесней? Нет, сказал им, "ragdon me, boys", но больше не пою.

Будучи уже кочегаром в штабе, напоролся на одного бывшего штабника:

— Ну-ка, спой мне, братан!

Галку, парень хоть и дед, но жмако форсит.

— Нет, отпелся.

— Что, обалденный дембель?

— Ну, дембель не дембель, а петь не буду, хоть убей. Ну иногда разве, для своих: придут из оперативного отдела ребята поблаговать анашой, спой им, пожалуй, из дружбы.

А в Айвадже за планшетом шел во все горло, причем несколько концертных программ было: романсы, "Севмальский циркачник", Алла Пугачева, старая эстрада, рок-н-ролл, французы, "ABBA", "Bonny M", hard rock, "Beatles" и так далее. Пел только для себя, но и чтоб слушали, конечно, никому не научил артиста из погорелого театра его мытарства и вся эта логика возмездия в мифе (выступаешь? — так и пой чертям на

URBI

заказ, получай за выкрутасы золото Мидаса!). Другой бы проклял это дело, а я очутился немного — и ну себе: "I don't still the rain against the window", "Ohe way tictet", "Don't bring me down", "Take a care on busyness", "Engnge", "Everybody knows this secret", "Suneу, thank you for the smile, I love you".

— Да заткнись ты наконец! — срывался прапорщик Карпенко.

А на новый год готовил праздничную программу по приказанию командира. На радиостанции у Игнатенко разучивали странную песенку. Припев — из "Culture Club": "Come, Camilia" с выдуманным хвостиком — "O my spring", а куплеты — неожиданно на слова У.Блейка "Spring" — мотив произвольный. Командир сказал: не будет концерта, не будет вам никакого Нового года, в двенадцать ночи песню споете — и отбой. Я уговаривал Шамсутдинова и Холова спеть, бегал по офицерским женам, чтобы те испекли вкусные вещи, ночами репетировал, да еще яму копал, так как обещал прапорщику Карпенко, что если он не выдаст командиру, что я спал на боевом посту, и не сорвет, следовательно, мою надежду на дембель к чемпионату мира по футболу, то выкопает ему яму два на два и два метра глубиной. А зубы-то как болели!

И все равно концерт состоялся, даже зубы от возбуждения прошли, даже яма выкопана была: тридцатого декабря после мертвого грунта, как по волшебству, песочек пошел. Все собрались в ленинской комнате: офицеры, офицерские жены, личный состав. Конферанс мой, сами понимаете, с приемом и игрой: играю в политзанятия, пародирую то замполита, то командира.

— Рядовой Шарипов, покажи мне на карте Азербайджан.

Шарипов показывает "Азербайджан," и появляется колоритное трио с заунывной азербайджанской песней под незатейливую гитару. Шарипов находит Ташкент, и завыл в смущении Хохолов, как учил его в кишлаке. Шарипов обводит указкой Украину — румяные Мукойда и Евлан плас тощий Горб, весело показывая зубы — Евлан — гимламе, а Мукойда — белые, как сахар — запевают непременную "Ты ж мене підмавула". "А покажи-ка, Шарипов, Англию" — пришло время выходить нам с Игнатенко. Он — чуть вперед, с гитарой, я — из-за его спины, он — отчаянно смущается, я совершенно в своей тарелке. "Little lamb, // Here I am. // Let me kiss // Your soft face, // Let me pull your soft wool" — форсирую я, пробую сапогом пол ленинской комнаты — и, наконец, — особенно громко: "Come, Camilia", а Игнатенко в тоске подпискивает: "O my spring", а я еще кулаком подначиваю. Рудаков потом показывал в курилке меня — дрыгая сапогом и кулаком, беспорядочно гремя, а Игнатенко показывал, резко изменив выражение лица на испуганно-вытянутое и выдавливая: "O my spring".

Я был счастлив. Перед самым Новым годом я чудесным образом перевернул быт и — какой? — армейский: враждебный и опасный. Я жрал стуженку, жадно уставившись в волшебный телевизор, и во мне жило сознание, что человек-оркестр носит в вещевом мешке песню банджо, и в своем стремлении в Ланчхути, в горах — уже в 1988-м — я снова пел на перекурах, как банджо у Киплягина: "Словно дети, изумляйтесь быттику// И радостно стремитесь к чудесам!"

Но лучше воевать с бытом на своей территории. В журнале "Кругозор" были напечатаны стихи о Дальнем Востоке. Ничего особенного не было в этих стихах, совсем они не проносили в пародию, смеха не вызывали, просто так себе стихик, каких много. Вот их-то мы и использовали с Ильей в 1981-м, 1983-м и 1986-м. А музыку взял с пластинки группы "Зодиак", которую тогда из всякой дыры было слышно. Электрическая романтика рижского взморья и суровая романтика испытующего края. Механически соседники, уже сыграли в электику, выпотрожили знаки и несамishly посмеялись. Над чем? Над "Запад есть Запад, Восток есть Восток", над сладким синтезатором и философской думкой. Перемешали стихи из кругозорской подборки под музыку, и вот уже Илья поет в один микрофон "Шарпа", а я в другой. Я встал на колени и, потрясая кулаками над головой, извлекаю последнее из голосовых свзсок. Припев "Татья-Яма дымят, Тятя Яма" — магическая формула, заклинание, дающее путевку на Дальний Восток. "Что мне смутно и ложно // Темнит белый свет, // Там прочтется несложно, // Как златый след". А потому тоска сложных московских повтов по суровой простоте окраин. "Не поеду я в Сочи, // Где солнце, песок, // А поеду я в сопки, // На Дальний Восток". Запредельный порыв в форме рок-н-ролла. Ильяша хитро орет: "Как сюда доберешься, поэт, // Если ты не из ранга удачных, // Если даже цена на билет//

URBI

Обозначена цифрой трехзначной? А у меня "якобы" истерика под жестоким ритм: "Я-я-я-я многих детей не могу народить (артикуляцию превращает истонный визг, // Единственный род свой восполюю, // О многих краях не могу говорить:// Я Дальний Восток слишком помню!"// (далее утробным хрипом) "Так вот, я хотела бы после, потом, // Когда подождут мои сроки, // За мной перевозчиц пусть адит паром, //(на последнем дыхании выдыхаю) Но только на Дальнем Востоке!". Реальная география замещается мифической, тем неожиданней бравурный призыв Илья: "Все на Дальний Восток!", сопровождаемый моим предсмертным воплем, ибо демографическая политика партии планирует засеять берега Сткиса. Просто спеть мало: не я же с Илюшей пою, а ансамбль "Чукчес Рок": Чуктин, Чуктинский, Чукчеев, Узкоглазов. Песне предшествует представление группы под проигрыш "Deep Purple" блюз "Зодиак": "Мы поем о героических тружениках Дальнего Востока", далее представление участников группы под яковы синтезатор, изображающий фауну Дальнего Востока, а на самом деле фауна Дальнего Востока с пластинки "Кругозора" изображает синтезатор.

Илюша держится достойно, только лирически жмурит глаза: "Сколько чаек за столетие прокричало, // Только что бы не суаман, все обман." Мелодия взлетает, и я не выдерживаю: сладострастно облизывая микрофон, сетую с надрывом: "Господи, все же обман, обман-а-а-а-а, все обман, обман, обман", сотрясаясь от рыданий. Все прием, а значит игра получилась.

Придуманно все это, как сказано уже, в 81 - 82 годах. "Как сюда доберешься, повт?" - лукаво пел Илья. Туда - в глубокую Сибирь, в тунару-тайгу? Вот и допелась. В 1982 году я, сам не зная как, уже стояла на аэродроме города Мирного Якутской АССР. Через месяц (ноябрь 1982) девочка из моего класса школы N1 города Мирного растирала варежкой мне побелевший нос, и, слава богу, пошла кровь и согрела его. В переполненном автобусе, прижимая платок к кровоточащим ноздрям, я думал: "А как я здесь оказался?" Я, московский школьник, не любящий путешествовать, был перенесен за тридевять земель, вернувшись же из Мирного, был заброшен в Нижний Потом армия - Душанбе и Айвадж, где я и отмечала дембельский 86-й, год возвращения в Москву и выхода "Гурий" в высшую лигу. Четыре года странствий от -50 до +50 градусов Цельсия после мифического "Чукчес Рок". А мама Четыре года томилась в Мирном, и после Мирного было отпущено ей жить четыре года. А Илья в 1985 поехал со стройотрядом на БАМ - и не влезла ли его песенка мифа? - стройотряд-то по простетивии лет обернулся репетицией полетов на ядре: в 1986-м (через пять лет после того, как мы придумали "Чукчес Рок") - в армию (а я-то звонил Илье, чтобы пригласить его к себе собирать гурийские материалы - т.Тамара по телефону: "А ты знаешь, Илья уже в армии". - "Что?"), а еще через пять лет, в 1991-м, - в Израиль.

Самым скучным днем в школьной неделе 9-го класса была УПК - сантехника. Чем безусловнее скука, тем условнее должен быть жанр, призванный эту скуку перевернуть. Не иначе, опера. Фея-музыкантша бережно поставила как-то увертюру Бетховена "Эгмонт". Драма, свернутая в пластинку-миньон. Музыка, чередующая волну и ручеек, будет музыкой к первому действию оперы "УПК", будет разыгрывать бурные события на уроке сантехники. Болтунова и Работа, преподавателем сантехники, ведут урок. Торжественное вступление "Эгмонта" аккомпанирует ритуальному речитативу Болтуновой: "Вальтерг, Жильцов, к доске! Вальтерг - типы инструментаж, Жильцов - что такое разметка?" Музыка едва струится. Пишут. Подсказки. Морской бой. Кроссворды. Снова торжественные аккорды: "Вальтерг, садись, пять, Жильцов - два". Следующий отрезок невероятно косноязычный. Работа пытается диктовать новую тему, подтягивая под музыку: "ну э-в-э-во, ну как его?" Звучат тревожные сигналы. Вышеивается Болтунова: "Вьдъ, Белоусов!" (ремарка: выходит); торжественная фраза: "А то же с каждым будет вьредъ, а то же с каждым будет вьредъ, кто будет, будет, будет, будет мне хамить!" (Бетховен: "пам-па-рам-па-па-рам-па"). Тема повторяется, только уже с Шакировым. Работа диктует все жалобней и тише.

Несколько тактов и - скрипки Эгмонта казнили, а Работа упал в обморок. Пауза. Нарастающее народное ликование. Балет с унитожением инвентаря и дулиганством. Врывается на противоходе скрипичная тема Болтуновой: "Прекратите, прекратите, прекратите, прекратите," но оркестр покрывает ее, завершая первую часть апофеозом: "Долой, сантехнику долой! Сан-технику, за-няли! Долой, долой долой, до-олой!!!"

URBI

(Бетховен: "пам-па-рам-па-па-па рам-па-па-бам! па-бам!па-ба-ба-ба-а-ам!!"). "Долой" ораам на всю маюпшну пятывтажку, а потом решил все это поставить в школе. На перемене весь класс остался слушать, а я пропел во все горло новую версию "Этмонта". Восторженные аплодисменты. Распределили роли, провел одну репетицию, но... этот не может, та занята, а голоса наши никуда не годятся. Опера осталась в отрывках. Жизнь моя осталась в отрывках. Так повелели Мойры, но я не смирюсь. Вот мое новое изобретение: машина для уничтожения быта (перефразируя Леви-Строса) — гурьская тетрадь!

Театр — так театр. Мифотворец одинок, если хоть одна из девяти муз не посетит его. В 1986 году, сразу после армии, Гаррисон, Илья и я играли в радиотеатр в присутствии сперва Кочкиной, а потом Ару. Идея возникла в кочегарке, когда я там садуру прочел Воровского. Критика Воровского на роман Соологуба — статья "Ночь после битвы" — ужасно рассмешила меня. Они стоим друг друга — надутый Соологуб в притатах и Воровский с его благородным негодованием. Сперва читаю вслух, а как бы еще оформить, обыграть? А что если прочесть по ролям, не меняя текста — от сих до сих — да записать все это на Илюшину "Шарп"? Минимум — прием, всего-то снятие кавычек, уравнивание текста и метатекста, а в результате — глядишь — и образ эпохи и все такое, диалог эпох, что ли? Господи, сколько было репетиций! Кочкина корчилась на диване: когда рассказывали, никак не верил: а разве она когда-нибудь смеется? "Шарп" держал на паузе, а отпустив, пржимал губы к микрофонам, паясничал, строго присматривая за артикуляцией, а по ходу действия творил пространство шумов. Елизавета раздалась — Гаррисон подбегает и, пропуршав курткой, бросает ее на пол. Триродов принимает тайных гостей — здесь подойдет характерный скрип Илюшиного шкафа. Гаррисон умеет складывать ладошки и так шевелить пальцами у губ, что воздух вылетает с таинственным присмехом это хороший фон для прогулки Триродова на навью тропу. Таинственные жидкости — соломинка и стакан, да дуть посылнее — закипят таинственные жидкости в нашем радиотеатре! Илюша на БАМе научился имитировать сблевывание с редким артистизмом — это разнообразит сцену социал-демократической массовки на природе. С пристрастием подбирали музыку. Записи-перезаписи. Гаррисон, Илья и я — творческий штаб, где всякие идеи и дискуссии, а Кочкина или Ару — восторженные наблюдатели: как мы отбегаем-прибегаем к микрофонам, ставим музыку и едва сдерживаем смех, когда Илья, блистательно зашкнался, отыгрывает роль рабочего Щемилова. Ну а дальше? Конечно, стремление расширить игру, слепить фрагменты в целое мифа, как-то так составить замкнутое пространство творчества, волшебное пространство состоявшихся талантов. Идея волшебной кассеты, идея фестиваля призраков, где театр Воровского — Соологуба сменяет ансамбль "Чукчес Рок", затем следует опера "УПК" — и что бы еще такое придумать?

Как мы смеялись, как надрыывал животик — а ведомок было мне, что Триродов-то, социал-демократ, король Соединенных Островов, как будто из снов моих, то есть не собственно сна, а из Вечерней страны как будто являлся, что роман Соологуба — сущий бред, конечно, но поразительно изоморфный моим дурацким грезам. Такова подоплека смеха в мифе. Да, я охотник за Музами, сидя на диване. Тело или тень — все равно.

— Да, я замечательно танцую, — говорил я Анисеевой в 88-м, — я — великий импровизатор.

Толстое эхо заладало: "Я — великий импровизатор!" Хором с Лидой: "Я — великий импровизатор!" (в течение двух месяцев). Хвастунишка я из мультфильма, а никакой не великий импровизатор! Но танцевать-то надо, тем более, что ни одного танца так и не выучил, а в "English club" всюю намаялась со мной, чтобы добиться от великого импровизатора каких-нибудь пяти стандартных шагов. Надо танцевать-то, хоть мама и говорила, что я не чувствую музыки, надо прижать к себе Прияникову, якобы по-испански коснуться ее лопаток своими лопатками, повода плечами, засеменишь жестоко и бухнуться ей в ноги, и прокатиться под ее ногами, и поднять ее на руки, и почти уронить. Потому что в этом мультфильме затаившийся Быт ждет, когда прекратится мой танец, когда перестану я делать кувырки.

И я танцую свой танец, где мое "страдающее, само себя зачаровывающее тщеславие получает удовлетворение в одновременном зачаровывании других" (Голосовкер).

Жизнь — или агон, или агония (я и в детстве так чувствовал). Не сумел победить

безусловно, умеи победить условно, иначе проиграешь. "Меня включили в сборную лагеря по волейболу", — наивно писал я Илье, как будто это могло быть ему интересно. "Я забил три мяча четвертому отряду", "я подтянулся одиннадцать раз". "Мой рекорд в прыжках в длину — пять метров". Рассказывал об этом, как интервью давал. Ибо в мифе нет разницы между олимпиадой в Москве или Лос-Анджелесе и олимпиадой в пионерлагере "Солнечная поляна". Диана-победительница, я писал тебе стихи, думая не о тебе, но о победе. "Громов, как я вчера играл в парке Мандельштама?" — "Уже лучше," — говорит одноклассник Кобелева и Чернышова. Моя следующая игра будет безусловной победой, ибо я — великий импровизатор.

Я всегда с надеждой просматривал киноафишу или телевизионную программу, потому что были прецеденты: много кино может и жизнь перевернуть. Меня всегда удручало: смотряшь в экран — ну фильм себе и фильм, а что дальше? Если (по Голосовкеру) во мне борется оргазм и число, то требование числа: упорядочить впечатления. Упорядочение значит состязание впечатлений, конкурс, в результате которого выстраивается иерархия: годовые десятки лучших фильмов, книг, спортсменов, десятки лучших книг, фильмов, спортсменов за всю жизнь. Число упорядочивает оргазм с 1979 года по сей день, а на верхние иерархии — в первой десятке — воля оргазму. Бешено влюблялся в книги и фильмы, и через эти книги и фильмы начинала смотреть на жизнь. Как читатель и зритель, я был максималистом, желая для любимого героя всевозможных побед превыше здравого смысла и логики сюжета. Энергия любимого героя никогда не ограничивалась пространством текста. Мне самому хотелось сыграть его, увидеть его, пережить его вне текста: во сне, в Вечерней или Дневной стране или еще как.

Сначала безумное увлечение "Волшебником Изумрудного города". Я страстно болел за Льва и Дровосека, умилялся Страшиле и Тотошке, но главный урок книги — зеленые очки, превращающие стекло в изумруд, фокус-обман, когда каждый рад обманутым.

Затем был огулушен "Тремя мушкетерами". В тетрадке, где записывал прочитанные книги, против названия книжки, где хоть раз упоминалось слово "шпага", рисовал условный значок. Папа строгаал мне шпаги с гардами из проволоки. Я размахивал ими, ломал их с треском, а папу спасла от славной смерти после удара мечом по башке только шпала. Дома повисали настоящие спортивные рапиры. Звезели ими с папой в коридоре, одев тулупы и маски. Пластмассовые игрушечные шпаги тоже пошли в дело. Вообще, все вещи делились на те, которые могли бы содтирать как суррогат или символ шпаги, и на те, которые в этом смысле были безнадежны. Кстати, тенденция делить весь мир на вещи-для-меня и вещи-в-себе (но это в скобках). Страну свою назвал Трое-Муше (от "трех мушкетеров", понятно), а Гаррисон свою — Д'Арт-порт-ар-атания (от суперквартира — Д'Артания, Портос, Арамис и Атос). Гаррисонский король с аркаическим именем Желтецкий (ибо был желт) стал Желтецким де Валуа де всех титулов не припомнишь, а его ближайшие друзья — герцог Орлеанский, принц де Конти, де Конде, герцог де Лонгвиль, у Илюши был свой де Ривароль, у меня — граф де Вард, де Тревиаль. Я рыдал, когда придавило Портоса, и в 76-м и в 79-м, я страдал, когда смотрел в кино эти французские мушкетерские фарсы. Но увидев "Зорро", я совершенно "поехал" и все пронзал папашу по дороге воображаемой шпагой. "Вжик-вжик-вжик-вжик, уноси покойника", крутил я пластмассовой рапирой после "Достоинств республики", а изображал мою королеву в Трое-Муше — княжну Черную, я чуть не проткнул Гаррисону, изображавшему шевалье де Лоррена, горло спортивной рапирой.

Все листы во всех тетрадках были изрисованы, как у рыцаря Васи: шпаги, рыцарские шлемы.

К "Трем Мушкетерам" добавился "Квентин Дорвард" — в Трое-Муше прекратились войны с кочевниками, а начались рыцарские турниры по малышним правилам.

Мой прежний король — Генералиссимус — проигрался в пух и прах, а его фаворит Лоу все повыигрывал. Генералиссимус в отставку, Лоу — королем. Генералиссимус — за помощью в Д'Арт-порт-ар-атанию, которая по части вала и вооружения не чета моим владениям. И вот уже Лоу в плену, его должны казнить. Но не так, как обычных воинов: тех в конечном счете оживляли, а, трепещу сказать, на краешек форточки и — хлоп окошко! Едва сдерживая слезы, я строю всех своих лучших рыцарей — де Лилло, де Маро, де Тревиаль, де Варда — всех, и они говорят: "И нас тоже".

Ужасный надрыв — как видите. Гаррисон же и глазом не моргнул, отправил всех за

окошко. Потом собрал на улице — и принес мне — всех, кроме Лоу. И обыскался же я его — все тщательно. Эх, наступать бы за все это Гаррисону по рогам, но нельзя: не умеешь сыграть катастрофу, не играй вообще. К тому же тенденции: эпоха рыцарей близилась к закату.

В 1982 году перечел "Тома Сойера" с "Геком Финном", и жизнь моя пошла по другому руслу. Мне исполнилось шестнадцать лет, пора было почувствовать свое прошлое как не дующее в настоящем, но отошедшее и завершенное. Пора было придумать своему прошлому форму, и остров Джексон стал мифологемой номер один, кинем пространством и кинем временем, а обреченный на "это", на "данность", волшебник-недоучка затосковал. Два месяца я читал и перечитывал "Тома" и "Гека", писал в стихах: "Том, на минус десять была я слеп", мам про остров Джексон: "Остров мой от житейских проблем в стороне", а в остальное время предавался дикой апатии, а потом вдруг такое началось: прочитал Уайльда с Киплингем, проштудировал "Английскую поэзию в русских переводах", Блейка, Донна, Диккенса, дал клятву запомнить английской поэзией и — сейчас могу сказать — выполнил ее, пошел в поход, о чем раньше не было и речи, в пионерлагере ушел из палаты и стал анахоретом, ударился в стихи, завел дневник, влюбился в Цветаеву, без инверсий стал не способен фразы написать, а в итоге улетел в Мирный, где к концу года попроще мое было окончательно решено.

Главное, я знаю день, когда переворот совершился. То воскресенье в конце марта, когда сначала фильм Говорухина про Тома Сойера показали, а потом еще Сенкевич сетовал о погибших экспедициях на Эверест. "Ну и на фиг я живу! — думал я, кропя слезами подушку, — Ни острова мне, ни вершины. Завтра в школу, а после школы домой, ну и какого черта!" "Динамо" Тбилиси играет со "Стандартом", да еще и проигрывает: а не вспомнить ли крамольную сентенцию про двадцать и двух бугаев, пинающих пустую сферу!

Вот до чего дошел в своем поиске смысла, а ведь если счет матча — это число, то футбол всем оргазмам оргазм. Когда наша сборная проиграла Олимпиаду-80 немцам, я ушел от телевизора, шатался от горя. В том же году "Динамо" (Москва) сыграло доманичью с "Нефтяч" 0:0. Я никогда не был плаксив, но всему же есть предел. "От Москвы и до Панамы все болейщики "Динамо"! — истошно орал я среди динамовских фанов, а втиснувшись с ними в вагон метро как проходя по городу в кучке динамовских демонстрантов, чувствовал, как захлещут пузырьки восторга где-то вверх живота. Смысл моей жизни размыслился там — двадцать два бугаева на вытопанном газоне, а пустая сфера и была моей Психеей, так что стоило ли жить после поражения "Динамо" (Москва) от "Локомотива" в 1982-м мам от СКА(Р) в кубке СССР-81? Так что насчет "Динамо" Тбилиси — "Стандарт" я, копящий и переписывающий справочники, которые вкупе с тетрадками мама и прихватила, когда меня взял в мандацию после демонстрации после матча "Динамо" Москва — "Черноморец" на кубок СССР-81, чтобы, разложив их перед ментом, прошептать: мой мальчик, ну и т.д., ну так вот, насчет "Динамо" Тбилиси — "Стандарт" я, готовый разгрызть пальцами и шариком от настольного тенниса все чемпионаты мира от тридцатого года, конечно, переборщил, ведь уже в июне, уставившись в волшебную лампу телевизора, по которому передавали Франция — ФРГ, я немство кусал ногти и сомнамбулчески шатался, как Лобовянский.

Надо ли говорить, что всякие знаменитости от Аалы Пугачевой времен "Араlexий" и "Очень хорошо" до "Pink Floyd" в 1980-м — это все предметы страсти и инстинктивного мифотворчества.

Скажу банальность, но что делать, если это факт? — тени литературных героев, мам сошедшие с экрана, мам футбольные тени, мам живущие в магнитофоне — все эти тени действительно кружат вокруг меня, когда я шел из дома в школу и обратно, мам возвращался затемно с некоторым трепетом из читалки, а там — на знойной страничке оставлен Жюль Верн мам Конан-Дойль: я смотрел на мир и видел вещь, но между вещью и мной скользили прозрачные тени, чтобы я готов был идентифицировать себя с ними, забыв о вещи. Симвотом зловещий — как если бы Иксон возжелал не Геру, а тень ее, а Менелай сказал "спасибо" за тень Елены, махнув рукой на настоящую Елену. Вот что: пусть оргазм мифа посылает мне волнующие тени! — мое дело устроить число мифа, придать ему форму гибких шахмат, и чтобы не взбесилась фигуры на доске, как у Лужина. А вещь? — я заарканю ее петлей мифа, сделаю вещь-для-меня. Если я обречен

тенья, они уж наверное мне помогут.

Знаете, когда телевизор барахлит, то за каждым футболистом бегают три тени. Мое видение людей вокруг меня часто было тем телевизором. По пионерлагерю ходил Артур Чмадажан. Его кеды просили кашки или на нем уж совсем расклббанное подобие сандалий, штаны рваные, рубашка навыпуск, ходит взрвалочку, небрежно шаркая по асфальту, сплевывая или ленивой, сосредоточенной слюной, или стремительным далековатым харком без подготовки. Говорит сквозь зубы, стально вращая черными глазами. Король! "Дай конфетку", — говорит ему одна бойка девтурка, а он ей, не спеша: "Есть у меня для тебя конфетка — большая и о-о-о-чень вкусная". Вот динки! Не мне чета, но тем обманчивой подсветка испорченного телевизора. Гаррисону всю рассказывал об Артуре, а Артуру бы, если бы король пожелал меня выслушать, непременно бы рассказал о Гаррисоне: как он английский знает, как "Top-20" по BBC слушает, какой он мифический злодей, какая драма с ним дружить.. Но впрочем, пустое: что до меня скользящему в бутафорски рваных кедах по асфальту величественному Чмадажану или властному Шефу, ты уверенная рука приоткрыла для моего смущенного взора альбом Медицинской энциклопедии. С годами из Гаррисона весь мифический пар вышел, зато я ему так о Нижнем рассказал, что выступила у него на лице испарина провинциала: да ну? — то-то. Где испорченный телевизор, там непременно испорченный телефон. В Нижнем я и сам глазами хлопал, сколько всяких чудес вокруг. Например, если я с кем-то общаюсь, воздух, вылетающий у меня изо рта, забит словами, а Калачев скажет слово-другое — стоп! — многоточие: плечами пожмет, нос пощекочет, глазом просверлит — вместо слов значительные пустоты, за междометием и разной хитрой фонетикой стоит, надо думать, несказанное или лучше, как Громов говорит: несказанное. Тоже мог ошеломить демоническим призывом по ту сторону добра и зла и — вдруг! — внезапные порывы. Да он благороден! — физкультурнику понес бутылку за меня, чтобы тот мне поставил зачет. Физкультурник не врубился, что перед ним стоит: да что это вы мне? — Пашка цыкнула только (по собственному его рассказу) — зачет в кармане. Да что это я о таком пустяке? А вы знаете, на примсках на Урале — да он едва ли не золотышко шупал. А в четырнадцать лет в загородной о-о-о-де оказаться не слабо? А что он там испытал — молочок! Ранняя зрелость знает, что почем. И голод? — и голод. И дело на кулачки? — наивный вопрос. И пьянство-хулиганство? — презрительно хмыкнув вместо ответа. А блуд? — сказал, молочок! Да он трахал всех этих баб с двенадцати лет направо и налево, а потом на скрипке играл. А в шахматы? — жаль бросил, но талант на то и талант, чтобы талантами разбрасываться. В балете танцевал. Еще подростком был — а уже такие бабки заколачивал, что милиция шла за ним по пятам, да он вовремя в армию свалил. Там крутой сержант, лучший радист Варшавского Договора. Трусики женские перед входом на радиостанцию трепещут, как флаг в лицо офицеру. Овладел он каратэ или не овладел — там, в армии — все же неясно: кажется овладел. Да его дружки по тирятам сидят, а он стихи пишет — да какие! — его пулеметные бонмо замучились собирать. Пашка, вот стол на день рождения Ару. Каламбур, быстро! — "Стол без вошки, что гребец без лодки". — Ах! А вы представляете себе, насколько он начитан? А вы знаете, что с ним вот так — вась-вась — беседовал черт? Чего в нем нет, то сам дорисую, и получится едва ли не супермен Александр Дик из моей Вечерней страны. Да это миф, явленый миф; на луну посмотришь с его балкона — луна шевелится в черных небесах, а пить с ним — что с самим его давешним собеседником. Ну и все мы, конечно, калачевствующие молодчики или околоскалачевствующие элементы, у нас калачится в мозгах — все словечки тогдашней и тамошней субкультуры. То-то Гаррисон, много позже, когда все это стало паюсквамперфект, все равно очумел, побывав в Нижнем: только и слышишь от него потом: что из Нижнего? что из Нижнего? Да что там, сам бородастый Кукин поддавал на волшебство. Тогдашнее, совсем тогдашнее, но столь властительное, что всей моей Москве до сих пор снится.

Мидас чего не коснется, все превращается в золото мифа. — А кушать что будем? — вы правы, мой холодильник пуст.

Я не верю в чудеса, потому что без чуда не могу и шага ступить. Я величаю быт хаосом, персонифицирую его в виде чудовища, но это моя болезнь, зане не дано мне ни быта, ни чуда. Какой быт, если земля раскачивается под ногами? А чудес не бывает — не вообще, но для меня. Но чудо слишком для меня актуально. И потому я рационалист,

URBI

что чудо необходимо моему организму. Ожидание чуда и ставка на чудо — моя дурная привычка, неизменный факт моего бытия, доминирующий рудимент.

А все потому, что смысл тоже валюта, только где ее взять? — а окружающие меня знаки и мифы? — инфляция и печатный станок. Вот и ищут смысла за пределами Здравого Смысла. Верите? — верьте, но верят не в то, что бывает или не бывает, а в свою веру. Бывает или не бывает, а я не верю.

Моя метафизика не верит, а физика велит! Дурная воля со дна! Тупое "хочу!" ребенка, а вместе с тем подобие похоти. Когда рассказывал Шайтанову гурийский миф, профессор пожал плечами: "Эти игры кончились в тринадцатом году". Но уверяю вас, совершенно невольно, Игорь Олегович: не культура, а натура. Животное ожидание чуда знать не хочет о тринадцатом годе, но я борюсь, Игорь Олегович, упираюсь. И чтобы выдержать равновесие в этой обреченной на провал жизни, я присягаю десятой софистике и рационарадокси.

"Вымакивать чуда у быта", — написал Чичибабин. Как будто обо мне. В 1978 году в Ейске решил умилостынить богов из только что прочитанных "Легенд и мифов Древней Греции" Куна. Но как же им передавать мои жертвоприношения: яблоки, дольки арбуза, пряники, конфеты? Вот что: по горизонтали — мерное, таинственное и касающееся горизонта — что такое? — правильно, море. А по вертикали — глубокое таинственное и зловонное — что? — верно, Ама. Вот потихоньку и выкидывал в море или в очко деревянного сорта ра свои скромные гекатомбы. Булы — жертва принята. Следующая пойдет Посейдону.

А рассказать, как жрал билеты перед экзаменами в Нижегородский университет? На автобусе до университета одна остановка, а я всю жизнь зайцем ездил, но в этот раз нет — покупал билеты. Конечно, счастливый! Вчера-то я "Севиальского цирюльника" по радио слушал, варенье дегустировал и еще тем не знал заняться, только бы не готовиться к этому страшному экзамену по истории СССР. Ночью сел за энциклопедию вместо учебника, но ночные бдения суть виглмы, а отчаянный прищур над книгой перед экзаменом есть не подготовка, не учеба, а магическое действие. В энциклопедии я дошел до Пугачева, все до Пугачева забыл — только Пугачев едва различимым пятном. Вытаскивая билет потной рукой, а тот сходится с билетиком. Пугачев! Сдаешь экзамен всегда с твердой, взятой на прокат верой, что там, наверху, о тебе позаботятся. До сих пор нахожу в карманах разные талисманы, которые связывали меня с моими парками-хранительницами, а те должны подправить любую нить так, чтобы мне было хорошо. Но если что-то получается плохо, не везет или совсем беда, так и хочется воскликнуть: вы обознались, это же я! Впрочем, от занимающейся только тобой небесной канцелярии можно ждать и сюрпризов — испытаний, например. Варианты испытаний могут быть разные — пример: если буду бегать каждый день в течение года, будет дана мне большая любовь, а "Гурик" — успех ошеломляющий. Вернусь домой за забытой вещью — лары и пенаты скажут: не забудь в зеркало посмотреть, чего бы не вышло. Мама научила — свято бладу. Вообще, все мои суеверия не просто так, а осмыслены, они — дань безумно меня обожающим, но ревнивым и обидчивым богам.

Но как же так! — шептал я одному из них — футбольному богу, выбрасывая мусор в перерыве матча Греция — СССР в 1979 году. Ведь ты уже отиал у "Динамо" (Москва) кубок СССР в этом году — и снова? — ну не величайшая ли несправедливость? А обращался к нему не иначе — "Господи!" Футбольный "господи" особенно капризен, зато остальные "господи" должны были работать за двоих, выручать меня и хранить — и непременно выручат и сохранят!

"Господи! — шептал я в госпитале на втором месяце службы. — Сделай так, чтобы меня не послали в Черный батальон и чтобы я остался в Душанбе. Я ведь о многом не прошу, господи, не в Черный батальон, а в Душанбе, только и всего". Остался в Душанбе. Через семь месяцев лежу в коچهгарке и читаю Стерна "Тристрам Шендане" — сам кочегарский шенданец и бевберист, распаивается дверь:

- Рядовой Тройня?
- Так точно.
- Ваш военный билет?
- Вот.
- Завтра выезжаете в Айвадж.

URBI

До приказа дней двадцать; снова: господа, сделай так, чтобы я не сейчас поехал в Айвадж, а после приказа, я ведь о многом не прошу. Еду в Айвадж после приказа. Неуслышная опека небесной канцелярии надо мной, боевая готовность легиона ангелов-хранителей.

А в Айвадже? Занимаюсь посылной магией. На строевой шагаю не я, а чемпион мира по строевому шагу француз Круазе, в ОЗК бегают чемпионы Европы по бегу в ОЗК чех Струпола, за планшетом работает чемпион США по планшетному спорту Хьюджсон.

Кормили в Айвадже плохо. Месяцами не было хлеба, картошки, старшина воровал, свиному когда зарежет Мукойда, а шкуру ее опалит палачья лампой Шамсутдинов, в тарелке будут непременно свиные жирные шкурки с короткими волосками. Шкурки, конечно, на край тарелки, а с остальным меню можно работать. Вообразишь страну "Молочные реки — Кисельные берега", но на западный манер: жуешь сухую картошку и комбинировешь соус, какие бывают блюда из картофеля — я посеаю их в той стране, мне принесут вечерние газеты, по Video показывают Summeru последнего тура чемпиона Англии, рядом магнитофон и наушники. А если рыбные консервы на ужин, представляю себе приморское кафе и всевозможные тудеса с рыбой в Волшебной стране, ибо вспоминаю за ужином ту самую превращенную Вечернюю страну, и она помогает мне в борьбе за дембель с медальным Хроносом.

Во мне постоянно присутствует сознание, что я живу не так, более того, что я вовсе не живу, а только готовлюсь жить. С жизнью необходимо что-то сделать, чтобы она пошла по-другому, вернее чтоб она началась. С прошедшим временем проще, утраченное время не нужно искать, оно возвращается ко мне оформленным, завершенным, значительным. Атлантида прошлого хранится в моей шкатулке, я кому угодно могу ее показать, но жить-то в ней нельзя. Прошлое плавает во мне смыслообразами, и эта магия смыслообразования мне ничего не стоит. А настоящее горит, рассыпается, шатается, прычется: да его нет! Оно есть только потому, что я за него трясусь, боюсь, что я бегу за его призрачным смыслом с беспомощным сачком (впрочем, вот моя коллекция: прекрасные образцы прошедших *supra diem* на булавках). И дело не в том, что жизнь не дает мне того, что я прошу. С тех пор, как перед поликлиникой я умоляла на бегу бога о том, чтобы мама была жива, а в поликлинике на третьем этаже я спросила медсестру, где сороковой кабинет, а медсестра спросила меня: а что вам нужно?, а я сказала: да там моя мама, а медсестра сказала: твоя мама умерла... вот с тех пор я мало на что надеюсь, то есть кое-о-чем еще прошу у последних полудохлых божков моего детства, но с тех пор вся ставка моя только на себя. Дело в том, что даже житейские планы в настоящем всегда терпят крах, что я себя не оправдываю в настоящем, что я проигрываю в настоящем, что в настоящем самый конкретный смысл не сбывается — я не знаю что делать в настоящем, я растерян перед его лицом, и оно только потому еще маячит передо мной, что завтра будет Новая Жизнь.

Новую жизнь с понедельника не я выдумал. Поведенческий штамп. Но надо мной это словосочетание имеет особенную власть. Без допинга этих двух слов я расклеиваюсь на глазах. Я не помню, когда я их впервые произнес, я не знаю, когда я с ними смогу расстаться. Кажется, эта привычка немалочима.

Лучше всего открывать Новую Жизнь первого января: ожидание чуда в Новый год — устойчивый инстинкт, причем это, самая круглая дата. Новая Жизнь может быть приурочена к какому-то событию: к дню рождения, к важной годовщине какой-нибудь. Если нет, тогда новая жизнь имеет другие названия: декабрьский период (лучше с первого декабря, на худой конец с десятого, пятнадцатого, но получается, что и с седьмого (даже пятого, двенадцатого двадцатого, даже двадцать пятого), который, не получившись, раздробляется на "Три недели в декабре", "Две недели в декабре", "Последнюю неделю декабря". Бывают всякие Летние, Осенние, Весенние периоды, Чрезвычайные периоды, Переходные периоды, Экспериментальные периоды, Рабочие периоды и т.д.. Ни одна новая жизнь больше трех дней не продолжалась, средняя же ее продолжительность — несколько часов, частотность попыток — иной раз по двадцать раз в месяц, минимум — три раза в месяц. И так в течение многих лет (примерно пятнадцати).

Открыть новую жизнь не так-то просто. Думаете, пролепетать: Новая Жизнь — и все? Нет, это магический акт и требует огромного напряжения. Техника житейской магии

URBI

эволюционировала. Первое: так сказать, хронотоп Новой Жизни. Открывал Новую Жизнь на море, в горах, когда гасал лампы в кинозале перед каким-нибудь суперфильмом, на стадионе перед матчем или во время концерта. Чаще всего — дома или на улице ночью. Раньше — больше дома, сейчас — почти всегда в городе. Ночное время обязательно. Исключение — окский откос (ведь и улица у меня в Москве — Окская), когда я гощу в Нижнем. Когда же действие совершалось дома, необходимым были особые условия. Я выключал свет в своей комнате (должно было быть непременно темно), прокручивал пленку магнитофона к заветной песне — их было немного: начало "Wish you were here", "Time", одна песенка "Deer Purple" и еще парочка, не больше, — и с первым звуком музыки зажигаю лампу, висящую над кроватью и одновременно резко, с искрами, открываю глаза.

Сейчас в ночном городе мой маршрут таков: ночью выхожу из дома налево, прохожу мимо котельни, затем поворачиваю в улочку между двух детских садов — в глаза бьет фонарь, закуриваюсь, пытаюсь вообразить себе судно и канат, мысленно разрубая канат и рисую где-то у переносицы, то есть почти у горизонта, парус, предельно закуриваюсь — и распахиваю глаза на фонарь, затем смещаю фокус, чтобы создать таинственную дымку вокруг. Открыв Новую Жизнь, прохожу мимо плюшиной пятиэтажки, заворачиваю у мусорных баков, а через дорогу — школа, где я учился до девятого класса, — делаю ритуальный круг у школы и заставляю напротив фонаря (если есть луна, все время держу ее глазами). Потом возвращаюсь.

Второе: словесный сценарий Новой Жизни. Начало неизменно: внимание, внимание, сегодня такого-то числа такого-то года я открываю Новую Жизнь. Типовые схемы ритуальных речей, конечно, менялись. Общая структура такова: магическое обоснование Новой Жизни (числа, даты, соответствия — совпадения, знаки и знаменья), раскрытие понятия, житейское обоснование, стратегия, тактика (цели и методы), планы на сегодняшний вечер. Раньше Новая Жизнь непременно приурочивалась к какому-нибудь празднику: телевизионной супер-неделе, большому футболу, долгожданному фильму, концертам, поездкам. Теперь эта непременная приязнь к праздничной программе отменена. Во время торжественной речи я должен себя убедить, что Новая Жизнь состоится, а должен себя поднять, подпитать, что ли? — прочистить каналы? После провала Новой Жизни, а он неизбежен, следует апатия, упадок, разочарование — иной раз очень надолго. Но бывают такие первые и последние дни Новой Жизни, что долго завладеешь потом тому маладенцу — победителю, тому однодневному рыцарю.

Случались в истории этих церемоний удивительные эксперименты. В 1979-м я отмечал Новый год дома один. С двенадцатым ударом курантов открыл Новую Жизнь, но как? — стоя на столе в чем мать родила. Хотел символизировать рождение? Или предельно отстранить ситуацию? Трудно вспомнить. А ведь морозы тогда были страшные. И отопление, кажется, полетело. Слез со стола — вроде ничего. Одед труссы, майку, штаны, рубашку, олимпийку, лучше свитер, пальто, едва ли не шапку — все трясет. Вот так церемония! Впрочем кое-чего я добился: в 1979 году в моей жизни появилась "Гурья".

Любопытная история со мной приключилась в Нижнем в 1984 году. Тогда я жил в общежитии, а оттуда рукой подать до Кремля. Процедура совершалась у церквей в Кремле. Надо сказать, что пока я в течение нескольких лет воображал себя марафонцем вокруг света, привык очень быстро ходить. И так, как-то вечером иду к церкви открывать Новую Жизнь, иду очень быстро. У церкви, как положено, закуриваюсь и распружинил веки, напустила тумана в слепые глаза — хлоп-хлоп глазами: Внимание! Внимание! Медленно иду обратно, шепча с мимическими движениями и жестикающей страстный и официальный монолог. Сзади миллионер:

- Гражданин, пойдёте в отделение.
- За что?!
- Вы молчались на памятнике искусства. Статья такая-то: хулиганство. Меры тоже предусмотрены.
- Да с чего вы взяли?!
- А вот с чего: к церкви вы шли быстро, так? А быстро обычно куда идут? Тем более, что обратно медленно.
- Но ведь вон туалет, туда-то сподручнее.
- Э-э-э нет, в том-то и дело, что туалет закрыт.

URBI

Виджу: дело плохо. Бюститель порядка увлекается дедукцией. "Я только хочу Вас понять," — говорит. Нужно ему как-то представить причинный быстрого и медленного шага, стояния лицом к церкви, чуть-чуть запрокинув голову. Говорю:

— Понимаете, я очень люблю искусство (унизительно, но не про Новую же Жизнь рассказывать!) Вот мой студенческий билет. Я филолог. Обожаю эту церковь.

— А почему ночью?

— Знаете ли, в последний час особый свет и (завернул ему что-то такое этакое — лишь бы не в участок) ...

— А почему туда быстро, а оттуда медленно?

— Понимаете, у меня очень быстрый шаг. А оттуда иду в особенной задумчивости.

— Я только хочу Вас понять. Неубедительно.

— Ну не знаю, я отличник, понимаю, студент-полмаглот, ну что Вам еще надо?

— Ладно, маг, полмаглот. Только в следующий раз, когда спать захочешь к полуночи, зайди в переулок, надо же, додумаешься, в Кремле по нужде.

Поспешая обратно в общагу, я догадался, что попал в сюжет, стал совершенно счастливым и налегке открыл Новую Жизнь.

А теперь о чуде. Чудо не перевернуло моей жизни, но вот оно, со мной. В 1979 году мы с Костиком отчаянно скучали в тихий час (дело было в пионерлагере). В качестве дежурной "эврики" придумали бумажный футбол. В чем идея, скажу. Режутся мелкие бумажки, на них пишутся футбольные счета, к примеру, тридцать "1:0", десять "0:1", тридцать "0:0", десять "2:2", один счет "8:0" и т.д., пропорция "хозяева — гости" два к трем к одному. Чем меньше вероятен счет, тем меньше бумажек в куче с этим счетом. Всю эту кашу — в пакет. Перемешать. Взять сетку розыгрыша кубка СССР или календарь чемпионата и играть себе.

"Динамо" (Москва) — "Нефтьч". Тянем: 0:0. Вот и все. Игра была обречена на скорое забвение, так, ничтожный эпизод для Ното ludena. Разыгрываем кубок СССР. Выигрывает "Гурия". Я такой не знаю, как попала в сетку кубка СССР? Дело в том, что весь азарт в победе спальных, чтоб жребий был благосклонен к привычным лидерам. А тут какая-то "Гурия". Обидно.

Приехал в то же лето к Илье в "Заветы Ильича". Научил бумажному футболу. Разыгрываем кубок СССР. Что вы думаете? Опять "Гурия". Ничего не остается, как придумать про нее историю: а в Васюки, придумать состав гениальной команды: Шелми — новый Пеле, Джугаташвилл — новый Гарришча, Саладзе — новый Диди, Бададзе, Бадашвилл — ему подстать, Цаба — новый Н.Сантос, Нодадзе — грузинский Яшин. Сборная СССР — сплошь гурийцы. Ланчхути — всемирный футбольный центр. Каждый матч "Гурии" с "Цементом" из Новороссийска или с "Судоостроителем" из Николаева подробно освещаются мировой прессой. Весь азарт бумажного футбола отныне заключается в "Гурии", которая вскоре уже — в высшей лиге и выигрывала товарищеские матчи у сборной Англии, ФРГ, Бразилии. Теперь уже и на полянке играем с Ильей только в "Гурию" палос мой синхронный комментарий: Шелми отдает Бадашвилл, Бадашвилл — Цабе, длинный пас Джугаташвилл — гол!

Естественный вопрос: а где же реальная "Гурия"? В августе попалась на глаза табличка второй лиги. Ого, на четвертом месте в шестой зоне идет. А в ноябре — как снег на голову! — "Гурия" впервые в своей истории выходит в первую лигу. Чудо! Это ведь Чудо! Магические бумажки повлияли на футбольных Пароки!

Ждем с Ильей сезона-80. Вопрос: кто будет первым реальным футболистом, которого мы узнаем? Сверхмало: матч на кубок СССР "Памир" — "Гурия" 3:1. Кто забил гол? Боже мой, Шелми! Больше он никогда голов за "Гурию" не забивал, в заключочном списке его не было. Дал знак и исчез. Отныне между "Гурией" и мной установилась связь. "Но факты?" — спросила я у неверящего в чудеса Шайтанова. — "Факты, да," — ответил профессор.

"Никогда "Гурия" не выйдет в высшую лигу", — отмахивался Мамуладзе из Батуми в армии в 1985-м. В 1986-м "Гурия" вышла в высшую лигу. Через магические семь лет. Это было для меня и Ильи потрясением. Тридцать первого октября 86 года за четыре тура до конца турнира в первой лиге, когда многое было еще неясно, мы с Ильей поклялись вести гурийскую тетрадь. В конце декабря Илья уже был в армии, а я пришел из армии в июне 86-го. Рыбок "Гурии" и совершился в эти месяцы, пока мы были вместе. Связь

URBI

"Гурии" с ЦСКА установилась отныне, в 86-м ЦСКА – первый, гурийцы – вторые. 87-й ЦСКА – пятнадцатый, "Гурия" – шестнадцатая, обе команды вылетают. В 88-м ЦСКА – третий, "Гурия" – четвертая – в шаге от высшей лиги. В 89-м ЦСКА – первый, "Гурия" – вторая – снова вместе в высшую лигу. В 1990 году "Гурия" уходит со всесоюзной арены и занимает второе место в первенстве Грузии, ЦСКА – второе в первенстве СССР. В 91-м году ЦСКА – чемпион. Что это означает – будущий взлет или конец "Гурии"?

Выход "Гурии" в высшую лигу – событие невероятное. В высшей лиге команды представляют города-миллионеры или столицы республик. А население Ланчхути насчитывает тысяч восемь – жуткая дыра. Известный знаток Громов утверждает, что случаев, чтобы такие карлики на таком уровне выступали, где бы то ни было, он не знает, даже в маленьких странах. А СССР – шестая часть, как известно. Стадион в Ланчхути вмещает 25 тысяч зрителей, в три раза больше, чем население города (мировой рекорд). В лучшие времена посещаемость достигала 22 тысячи. Этот футбольный стадион в СССР был построен, как по волшебству, за три месяца – методом народной стройки.

Когда мы играли в бумажный футбол в ла Васюки, единственный грузин в правительстве, кроме Георгадзе, – Э.А. Шеварнадзе – стал у нас первым человеком в СССР. А невдомек было, что Э.А. Шеварнадзе – гуриец, а брат его Баграф – основатель "Гурии".

Я иду в Ланчхути через горы в 88-м году. Я приближаюсь к заветному местечку. История моей "Гурии" – история чудес. Чудес было много. К ним все мои друзья давно привыкли. Да и я привык. Когда-нибудь о них подробно расскажу. Не сейчас. Из ничтожного пакетика с бумажками родился миф, вобравший все мои разрозненные мифы и игры. Этот миф позволил мне собрать свою жизнь в этой тетради, построить свой космос в этой тетради. Пораженный совершившимся чудом, я славлю это чудо в стихах и в прозе – в этой тетради. Тетрадь со мной, "Гурия" неотменима, значит, я состоялся, мне не будет "мучительно больно".

В последнее время, после отказа Грузии от первенства СССР, миф расширяется пугающе стремительно, затягивает в свой круг людей, в том числе и тех, которые и слышать не хотели о футболе. Я сам в трепете. Поэтому эти обрывочные предложения записываю как с линии фронта. Поверьте мне, почище, чем Таен Борхеса... Сбился на скороговорку и обрываю воспоминания. Как-нибудь потом доскажу. Еще не время. Нет, все же повторю еще раз: чудо-то свершилось, только это-то и страшно.

Надо же, импровизированные воспоминания получаемся. Или что-то вроде исповеди. В жанре "по секрету всему свету". Секреты выбалтывают торопясь и запинаясь. Извольте. После бессонной ночи я слегка дрожу. Главный секрет не скажу.

Не надо ждать зрелости, чтобы спеть лебединую песню.

URBI

Василий Троян

ГУРИЙСКОЕ РОМАНСЕРО БЕСИКУ ПРИДОНИШВИЛИ

Эпиграф 1: Да минует меня чаша сия!

Эпиграф 2: Я с гордостью ношу его кольцо

М. Цветаева

Эпиграф 3: В расцвете смерти объятый жизнью

Дж. Джойс

1

1. Блуждающие огоньки в подаунной чаше,
2. Юноша, ищущий след, затерянный в чаше
3. Ног, — единственный шанс тебе со
4. Товарищи, Шепсес-Бесо,
5. Ищи затерянный след,
6. Стремись, ко мне разверни спины твоей знамя,
7. Ибо я тебя уже знаю
8. Десять лет.

2

9. Расчетливый удар на
10. Минуте запредельной —
11. Минутный дар фортуны...
12. Придонишвили, туне!
13. Целуешь благодарно
14. Ты кубок, яда полный...
15. Увы, забытый гол на
16. Минуте запредельной —
17. Минутный дар удачи,
18. Отравленной тем паче.
19. Чтоб отозваться в ком-то,
20. С ним обручившись в Лете,
21. Презрительным кивком ты
22. Послал победу в сети.
23. Кольцо в Коцит, и полно!
24. Забудь забытый гол на
25. Минуте запредельной!
26. Минутный дар... давайцы...
27. Ей не воскреснуть, Ай Цми!

3

28. Голая ладья месяца в этом окне,
29. Чай лимонный омут на этом огне.
30. Последний листок газеты
31. С цитрусовой корой.
32. Последнюю эту победу
33. Мусолят тоска порой.

4

34. Пандора зло родила
35. И горькое горе:

36. Первый соперник — Дила
37. Из города Гори.

38. И как ни рвутся тела,
39. Сети будут сухими:
40. Первый соперник — Дила,
41. Последний — Сухуми.
42. Он взял добычу, открыв
43. В схватке с Дилою
44. Круг крутой, как обрыв,
45. И замкнутый злою

46. Судьбой — и кубком златым —
47. Чашей Граала!
48. Рыбак бесплоден, и в дым
49. Мы проиграли.

50. Его крылатой ногой
51. Слава забита,
52. Но круг Деметры благой
53. В чреве Аида.

54. Вместо круга — кольцо,
55. Призрачный перстень.
56. Отныне слава — как с н.
57. Пала окрест тень.

5

58. Море синее зыбко,
59. Зане рыбак поймал рыбку.

60. Упала тень на крыльцо:
61. С вестью стучит гонец.
62. Говорит: "Поймал рыбку гонец.
63. В чреве ее кольцо —
64. Поликратов перстень, кацо!"
65. Это конец!

66. Море синее зыбко,
67. Зане рыбак поймал рыбку.

68. Кольцо блокады в цепи
69. Мордора коварных колец:
70. Му-му топят Герасимец...
71. Атаст! Отставка Тапи,
72. Квадрат, отрицающий л, —
73. Это конец!

74. Море синее зыбко,
75. Зане рыбак поймал рыбку.

- 76. Катит обруч Садам,
- 77. Пески угрожают садам;
- 78. Фоменко, ты тоже мишень —
- 79. Беги, спасайся, Мишель!
- 80. Литва упала с небес:
- 81. Мажейкис и Фридрикас без
- 82. Веры в счастливый исход
- 83. Бегут, пустимся в исход.
- 84. И тень стыда на лице
- 85. У Бесо: Цхинвал в кольце.
- 86. Указ за указом Звиад
- 87. Катает, и цепи звенят.

- 88. Море сильнее зыбко,
- 89. Зане рыбах поймал рыбку.
- 90. И старец ты мал юнец,
- 91. Но это конец!

6

Апология высказывания

- 92. Сказал нуменорский сокол:
- 93. "Риторика — empty circle".
- 94. Сказал быстроногий Бесо:
- 95. "Слова не имеют веса".
- 96. А Гиге вспомнилася Тютчев:
- 97. "Silentium" — так будет лучше"
- 98. Но Евграф возража им: "Вах!
- 99. Все дело в словах".

Условия высказывания

- 100. Осталась форма и тесто,
- 101. А в сердце — пустое место.
- 102. Вместо чая и торта —
- 103. Трагическая реторта.
- 104. Риторика суть аорта.

Тезис. Коалбеляная

- 105. "Ты — единица, а Гори — ноль.
- 106. Ты — единица, Сухуми — ноль.
- 107. Спи, забудь свою боль.
- 108. What idle progeny succeed
- 109. To chase the flying fall?
- 110. Or urge the flying fall?
- 111. Спи, зане твоя мама спит,
- 112. Спи, забудь свою боль".

- 113. Осталась форма и тесто,
- 114. А в сердце — пустое место.
- 115. И ноль сильней единицы.
- 116. Поэтому мне не спится.

Антитезис. Дорожная

- 117. Я — единица, а Горы — ноль.
- 118. Я — единица, Сухуми — ноль.
- 119. Здорово в крови вино ль?
- 120. Падает капля в чашу вокзала,
- 121. А поезд льется. Она мне сказала,
- 122. Что нет ее, и, с ней ошреченный,
- 123. Ее следы ишу обреченно.

- 124. Остались форма и тесто,
- 125. А в сердце — пустое место.

- 126. Кручу в сердцах колесо-кольцо я,
- 127. Пока не задушат кольца Тифона.
- 128. В крови стучит метроном Цоя —
- 129. Загробный голос магнитофона.

- 130. И поезд по шпалам ползет
- 131. В тысяча девятьсот
- 132. Десятьюсто один ненадежный год.

- 133. И ноль сильнее единицы.
- 134. Усну — вдруг сны будут снятся?

Синтез

- 135. Остались форма и тесто,
- 136. А в сердце — пустое место.
- 137. Вместо чая и торта —
- 138. Трагическая реторта.
- 139. Риторика суть аорта.

- 140. А по Евграфу — когда дело швах,
- 141. Спасение в словах.

7

- 142. Истощенная темнота. Луна исчезла.
- 143. Юноша — он же старик — бессильны чресла.
- 144. Спит, сжимая кольцо и кубок,
- 145. И сон его дряхла и хрупок.
- 146. Творцу вернувший билет,
- 147. Вернись, ко мне развернись спиной-энигмой!
- 148. Знай, дано прожить в этот миг нам,
- 149. Знай, дано прожить в этот миг нам
- 150. Десять лет.

март 1990 - март 1991

Примечания

- 2. Юноша — футболист лапчутской "Гурми" Бесик Пирдоншвили.
- 4. Шепсес-Бесо — великодушнейший (по-египетски): так называли Иосифа Прекрасного в

URBI

романе Т. Манна "Иосиф и его братья". Эпитет как бы включает в себя имя футболиста.

6. Знамя спины. У Б. Придоншвиам на спине N 10.

8. Б. Придоншвиам играл в "Гурик" к моменту создания Романсеро 10 лет (с 1980 года).

9. Расчетливый удар — гол, забитый Бесиком в ворота "Цхуми" в финальном матче на кубок Грузии (мяч был забит в дополнительное время — "на минуте запредельной").

27. Ай Цин — китайский поэт XX века, написавший цика из двух стихотворений: "Мертвая земля" и "Воскресшая земля".

32. Последняя победа — победа "Гурик" в кубке Грузии.

36. Первый матч сезона 1990 года "Гурия" проводила в Ланчхути с командой "Дила". Этот матч "Гурия" выиграла 1:0, а гол забил Б. Придоншвиам. Заметим, что в провинциальном первенстве Грузии "Гурия" играла из-за отказа Грузии от участия в первенстве СССР, а ведь "Гурия" в 1989 году пробилась в заветную высшую лигу. Еще заметим, что город Гори — место рождения легендарного Кобы.

41. Сухуми или "Цхуми" — соперник "Гурик" в последнем матче сезона — в финале кубка Грузии. Соотнесенность Гори и Сухуми в стихе (и в сезоне 1990) — намек на связь сталинского периода и событий в Сухуми 1989 года (и последних событий в Грузии). Причем, Сталин, конечно, есть миф, универсальное зло и подобен Пандоре 34-й строки.

42 — 43. Он — Б. Придоншвиам, забивший первый гол сезона — "Диле" и последний гол сезона — "Цхуми". Круг сезона, таким образом, открывается и замыкается Бесо, благодаря которому "Гурия" завоевала кубок Грузии.

48. Миф о бесплодном рыбаке, владеющем чашей Граала, есть отсылка к поэме Т.С. Эммота "Бесплодная земля". В руках бесплодного рыбака чаша Граала теряет свою ценность, бесплодной представляется победа "Гурии" в кубке Грузии. Бесплодный рыбак (ловец победы) отождествляется с Бесо, ведь победа последнего бесплодна, а кубок Грузии есть профанация чаши Граала.

50. Бесо отождествляется с Гермесом, покровителем "Гурик" в ее всевозможных махинациях и подкузах, о которых было много разговоров, но вместе с тем Гермес — проводник в царство мертвых.

52. Круг Деметры — ее дочь Персефона, которая осталась в Аиде, кажется, навсегда.

54. С 54 строки разворачивается метаморфоза круга, круга сезона, круга Придоншвиам (весна — осень, первый гол весной — последний осенью).

69. Мордор — область зла во "Властелине колец" Толкиена. Мордор захватывает кольца, "внимая" из круга смысла, а ведь круг — образ, эмблема смысла, осмысленного мироздания. Семантика "кругового движения" содержится и в слове "оборотничество". Далее описывается картина оборотничества, круга бессмысленности.

70. Герасимец — футболист минского "Динамо", который должен был играть в 1989 году в "Гурик", но так и не сыграл. Как Герасим утопил Му-Му, свой Логос и Смысл, так Герасимец расстался с возможностью высказаться и сказаться, потеряв шанс сыграть в "Гурик".

71. Строки 70—73 митируют бессмысленность и случайность мира во власти Мордора, называя случайные и произвольные (не-типические) примеры этой бессмысленности. Играв в минском "Динамо", а не в "Гурии", Герасимец теряет свой смысл, как теряет свой смысл (и престиж) французская команда "Марсель", если уйдет в отставку ее президент миллионер Тапи (о его отставке поговаривали в начале 1991 года).

72. π — иррациональное число, сама идея круга, который без π ничем не отличается от квадрата. Проблема квадратуры круга решена, но это-то и ужасно, потому что решение бессмысленно, рационально-бессмысленно.

78. Фоменко — бывший тренер "Гурии," который во время иракских событий как раз тренировал сборную Ирака.

79. Мишель — Михаил Фоменко.

80. Аллюзия из "Грозы" Островского.

81. Мажейкис и Фридрикас — футболисты "Жальгириса" до 1990 года, а в 1990-м — футболисты "Гурии", в 1991-м — уже "Локомотива".

86. Аллюзия из Манделштама ("Мы идем под собою не чужь стран").

92. Нуменор — аналог Атагантам в книге Толкиена, нуменорский сокол — футболист "Гурии" Гоча Гкебуцава.

URBI

93. Перевод: замкнутый, пустой круг.

97. Гига — тренер "Гурии" Гига Имнадзе.

98. Евграф — основатель "Гурия" Евграф Амбросиевич Шеварнадзе, умерший в 1977 году.

102. Аллюзия из Т.С. Эмота "Альфред Пруфрок".

105. Счет в матчах "Гурия" — "Дила" и "Гурия" — "Цхуми" — 1:0.

108. Цитировано 3 строки из стихотворения Т.Грея "Ода на отдаленный вид Итонского колледжа". Перевод: "Какая праздная ватага успешно // преследует катящуюся круглую скорость /обруч/ или ловит летящий мяч?" Ода посвящена детству, которое манит поэта, но которое недостижимо. Колыбельная как бы возвращает гурийского поэта в детство.

119. Аллюзия из Мандельштама: "Здорово ли в крови Колкнды колыханье?"

131—132. Аллюзия из "Стихов о неизвестном солдате" Мандельштама.

146. Аллюзия из Достоевского "Братья Карамазовы" и М. Цветаевой ("Стихи к Чехи").

ВОЗЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Константин Лазарев

Комару

Терзай, комар, поэта служи
в июльской духоте его ворочай!
За то, что не допел, притух
и в руку бледный шарик брать не хочет.

Да, шарик бледен, ночь душа,
и хризантемы белые пожухли...
а с кем судьба теперь нежна?
Кого щадит? Тебя ли, мух ли?

Зуди ж, мой маленький, зуди!
Пусть кровь его хоть чуточку прольется,
и сердце вскакинет из груди:
"Вторая ночь для песни не дается!"

Василий Травников

Комару

Сядь, сука, сядь! не сядешь — на лету
Прихлопну! Эти э-э-э твои, ту-ту,
Измучил меня! Уж утро скоро...
Ну сядь же, сядь, поговори со мной,
Комар певучий, предводитель хора.

Не правда ль, для объятий две руки
Я вскинул вверх, следя твоим круги?
Иди! Но ты не прости, психолог тонкий.
То на стену присядешь, то взлетишь
Повыше, к потолку — нет, спящий лишь
Я лаком для твоей, певун, иголки.

Когда усну — вошьешься ты в меня!
И кровью обогрится простыня,
Возможно... А возможно, невредимый,
На воздух ты поднимешься, в полет,
И в жизни нашей встреча промелькнет,
Оставив странный след, неизгладимый.

Георгий Харизов

Без отопления

"Мне холодно, видишь?
 Я зябну! Скорей
 Найди мне веселых, кусачих шмелей!
 Ах, милый, смелей!
 Если любишь меня,
 Неси мне сейчас разливного огня!
 Не стой, как осина! Достань, наконец,
 Хоть мышь мне!
 Любимый, нашел! Молодец!
 Теперь догоняй!"
 "Черт тебя поберет!
 А спать-то когда?
 Без пятнадцати три!"

12.11.90.

"Эй! Нарисуй мне там...кунгуру!"
 к/ф "Бумбараш"

Мила. Пленительна. Воздушна,
 Как первый снег — всегда нескушна —
 Она являлась поутру,
 И, словно юный кунгуру,
 Готов я был скакать весь день
 Там, где ее мелькала тень.

Но утра быстро миновали,
 И мне остались лишь печали
 Воспоминаний в вечеру.
 Да хвост облезлый кунгуру.

12.01.91.

Это очень смешное животное,
 И оно не опасное, душенька,
 Ну а если тебя оно слопает,
 Мы дадим ему рвотное:
 — Скушай-ка!
 Оно красавицу выплюнет быстренько
 Невредимую — кто ж любит рвотное!
 Так пойдем с ним подружимся, кисонька,
 Это ж очень смешное животное!

Отравитель

Моя несравненная леди!
 Хрустальный бокал с золотым ободком
 Коснулся уст Ваших холодным огнем,
 Небесная странная лебедь!
 Слегка пригубив (а в бокале был яд),
 Вы томным и нежно-пленительным взором
 Пронзили мой пристальный сумрачный взгляд

И молвам: "Странно, что свечи горят.
 Быть может, смеркается скоро?" "Нескоро".
 "Но мне по душе. И для Вашей души
 Зажженные свечи весьма хороши.
 Прочтите, прошу Вас, молитву.
 Она нам поможет, она завершит
 Меж нами древнейшую битву!"
 "Молчите! Молчите! Я все поняла!
 В вине была какой-то осадок!
 Но вы проститались, я просто спала,
 Ваш яд — возбуждающе-сладок,
 Меня разбудил он... но здесь мы одни,
 Должны вы ошибку исправить вполне!"
 Скользнул покровы, и выкрикнул огней
 Вметнулся в очах странной гостью моей...
 Очнувшись наутро, я поняла одно:
 Что яд для змеи — это то же вино.
 18.01.91.

Любимый кит

Я откушал кусочек тебя,
 Зело вкусен и желт, и пахуч ананас,
 Во грехе вожделения душу губя,
 С наслаждением свыше взирал я на нас.
 Ты, прелестная, таяла медом полей,
 И нектаром цветочной пылая пыльцы,
 Я, как шмель-джентельмен, ала душистый елей
 На твоим обнаженных нервов концы.
 Ты раскрыться сполна мне готова была,
 Я жгущим детектором правды искал,
 Сладострастно ты чашу-себя поднесла...

О, посмейся ты, Господи, вместе со мною!
 Я ни разу в объятьях ее не держал.
 Зачарованный — целой ее отпускал.
 Ядом радости чистой друг друга поля,
 Ты и я были выше, чем ты мам я.
 30.05.89.

URBI

ISBN 5-265-02787-4(1)